

ВАЛЕНТИН
ПИКУЛЬ



КАТОРГА



Русско-японская война – Дальний Восток

Валентин Пикуль

Каторга

«ВЕЧЕ»

1987

Пикуль В. С.

Каторга / В. С. Пикуль — «ВЕЧЕ», 1987 — (Русско-японская война – Дальний Восток)

ISBN 978-5-4444-8877-5

Роман «Каторга» остается злободневным и сейчас, ибо и в наши дни не утихают разговоры об островах Курильской гряды.

ISBN 978-5-4444-8877-5

© Пикуль В. С., 1987
© ВЕЧЕ, 1987

Содержание

Часть первая. Негативы	6
Заочно приговорен к смерти	6
1. Ставлю на тридцать шесть	10
2. Выдать его с потрохами	14
3. В сладком дыму Отечества	18
4. Русский «великий трек»	23
5. Мы завтра уплываем...	27
6. Приезжайте – останетесь довольны	32
7. Власти предержавшие	38
8. На нарах и под нарами	43
9. Люди, нефть и любовь	48
10. Крестины с причиндалами	53
11. Коллизии жизни	58
12. Теперь жить можно	63
13. Не подходите к ней с вопросами	68
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Валентин Пикуль

Каторга

© Пикуль В. С., наследники, 2008

© ООО «Издательство «Вече», 2008

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Часть первая. Негативы

*Издалеку вели сюда —
Кого приказ,
Кого заслуга,
Кого мечта,
Кого беда...*

Ал. Твардовский

Заочно приговорен к смерти Пролог первой части

Я свободен, и в этом — мое великое счастье...

Никто не принуждает автора выбирать себе героя — хорошего или плохого. Автор вправе сам сложить его, как мозаику, из красочных частиц добра и зла. На этот раз меня увлекает даже не герой, а то страшное переходное время, в котором он устраивал свое бытие, наполненное страданиями и радостями, внезапной любовью и звериной ненавистью.

Наверное, герой понадобился мне именно таким, каким однажды явился предо мною, и мне часто делалось жутко, когда он хищно вглядывался в меня через решетки тюрем своими желтыми глазами, то пугал меня, то очаровывал...

Порою мне хотелось спросить его:

— Кто ты? Откуда пришел? И куда уводишь меня?

Но сначала нам придется побывать в Лодзи.

Это был «привислянский Манчестер», столица ткацкого дела, ниток, текстиля и тесемок, где в удушливой паутине фабричной пряжи люди часто болели и очень рано умирали. Недаром в пивницах Лодзи любили поминать мертвых:

Эх, пойду я к дедам в гости,
Жбанчик водки на погосте
Выпью, где лежат их кости,
И — поплачу там...

Лодзь входила в XX век как самый богатый и самый грязный город Российской империи: фабрики отравляли людей дымом и копотью, они изгадили воду в реках и окрестных озерах. Трудовой люд копошился в окраинных трущобах, где не было даже зачатков канализации, перед будками уборных выстраивались по вечерам дрожащие от холода очереди. Зато в этом городе сказочно богатели текстильные короли, а на Петроковской до утра шумели кафешантаны с доступными женщинами, полураздетые красотки брали по сотне рублей только за интимную беседу с клиентом. Здесь же, на Петроковской, в царстве золота и пороков, неслыханных прибылей и расточительства, высились монолитные форты банков, в которых размещали свои фонды капиталисты Варшавы, Берлина и Петербурга...

Стачки лодзинских ткачей уже вошли в историю революционной борьбы – как самые кровавые, полиция Царства Польского жестоко усмирjala бастующих. В подполье работала «Польская социалистическая партия» (ППС), к центру которой примыкал тогда и Юзеф Пилсудский, будущий диктатор Польши, который силился разорвать революционные связи русских и поляков. На самой грани нашего столетия в ППС появилось левацкое крыло «молодых», заявивших о себе отважными «боевками», где все решала пальба из браунингов, дерзкие экспроприации (сейчас таких людей называли бы «экстремистами»).

Был холодный ветреный день, домовые водостоки низвергали на панели буруны дождевой воды. В цукерне пани Владковской почти на весь день задержался молодой человек. Под вечер он щедро расплатился с лакеем и, еще раз глянув в окно, в котором виднелась громадина Коммерческого банка, вышел на Петроковскую – под шумный ливень. Раскрыв над собою зонтик, он проследовал в соседнюю цирюльню пана Цезаря Гавенчика, где был телефон. Приглушенным голосом им было сказано:

– Инженер? Это я, Злубый... где Вацек?

– Ушел, – донеслось в ответ. – Я тут с Глогером.

– Так передай им, что я с утра не вылезал из цукерни. Но, кроме городского у входа, не заметил даже наружных филеров. А что ждет нас в банке – никто не знает.

– Хорошо, – отозвался Инженер. – Я надеюсь, все будет в порядке, а Вацек я успокою. Итак, до завтра.

Покинув цирюльню, Злубый исчез во мраке кривых переулков, изображая крепко подгулявшего конторщика:

Ты лейся, песня удалая.

Лети, кручина злая, прочь...

В полдень следующего дня, когда ливень загнал городского в подворотню, возле Коммерческого банка остановились четыре коляски. Среди боевиков выделялся респектабельный господин лет тридцати, отлично выбритый – как актер перед генеральной репетицией. В руке он держал объемистый саквояж. Это был член «боевки», имевший подпольную кличку «Инженер».

– Все зависит от тебя, – шепнул ему Вацек, – и пан Юзеф обещал отсыпать тебе тысячу злотых в награду. Если кассир сам не откроет сейф, предстоит поковыряться! Мы будем удерживать банк, пока ты не возьмешь главную кассу.

Инженер встряхнул саквояжем, в котором железно брякнули слесарные инструменты. Он спокойно сказал:

– Не первый раз! Если не нарвусь на замок Манлихера, то с меллеровскими защелками управлюсь быстро...

У каждого боевика было по два браунинга, по четыре пачки патронов. Главные ценности банка хранились в сейфе секретной кассы, куда обязан проникнуть Инженер, а «боевка» тем временем возьмет выручку с общего зала. Не спеша поднимались по лестнице, внешне чуждые один другому. Швейцар все-таки насторожился:

– Вы, панове, зачем и к кому идете?

Вацек показал ему поддельный вексель:

– Получить бы кое-что с вашего банка...

Боевики проникли в общий зал, где публики было человек сорок, не больше. Они заняли места в очередях к кассирам, ожидая сигнала от Вацека. Следом за ними, позвонив куда-то по телефону, вошел в зал швейцар, и только тут Вацек понял, что он из внутренней охраны Коммерческого банка.

– Позвольте ваш вексель, – сказал он Вацеку.

– Получи! – выкрикнул тот, стреляя.

Старая еврейка метнулась к дверям – с воплем:

– Ой-ой, газлуни́м гвалт... воры пришли!

В дверях банка Глогер всех убежавших сажал на диван. Городовой, появившись с улицы, был убит его метким выстрелом.

– Всем посторонним лечь на пол! – орал Вацек.

Злубый, размахивая браунингом, звал его:

– Берем что есть, и пора отрываться.

– Не забывай об Инженере, который драконит сейф...

Со стороны директорских кабинетов вдруг разом откинулись окошки в дверях, как иллюминаторы в борту корабля. Оттуда выставились руки в ослепительных манжетах, украшенные пересверком драгоценных перстней. В этих изнеженных руках оказались револьверы – директора банка отстреливались!

– Ах, ах, ах, – трижды произнес Злубый, падая...

– Бей по дирекции! – не растерялся Вацек.

Но если боевики стреляли отлично, то служащие банка палили наугад, поражая публику. Началась паника. Люди, уже израненные, падали в очереди у касс, заползали под столы и стулья.

Банк наполнился криками, стонами, грохотом.

Вацек вложил в браунинг уже третью обойму.

– Глогер! – позвал он помощника. – Я прикрою ребят, а ты беги в кассу... поторопи Инженера, чтобы не копался! Напомни, что коляска ждет его на Вульчанской, а встречаемся, как всегда, на Контной – за костелом святого Яцека...

Глогер с разбегу споткнулся о мертвого кассира. Перед громадным сейфом стоял Инженер, почти невозмутимый. На стуле были разложены его инструменты, а свой элегантный пиджак он повесил на спинку стула. Глогер осатанел:

– Чего ты здесь ковыряешься? Нельзя ли скорее? Злубый уже истекает кровью, а Вацек давно с пульей в ноге.

– Держитесь, – с улыбкой отвечал Инженер и поправил на голове котелок. – Мне попался «меллер», но страховые «цугалтунги» держат замок крепко, как собака мозговую кость.

– Твоя коляска на Вульчанской, – напомнил Глогер.

– До встречи на Контной, – отвечал Инженер, и сейф тихо растворил перед ним свое нутро, набитое золотом.

Глогер вернулся в общий зал банка, где мертвые лежали уже навалом, а через окошки директорских кабинетов продолжали сыпаться пули. Вацек едва заметил Глогера:

– Ну, что? Взял он сейф?

– Взял.

– Тогда отходим. Берем Злубого... тащи!

Отстреливаясь, подхватили Злубого, потом бросили его:

– Да он уже готов... Скорее на выход!

Где-то вдали заливались свистки полиции и дворников, но все кончилось благополучно: через полчаса гонки на колясках запыхавшиеся боевики собрались на Контной улице.

– А где Инженер? – первым делом спросил Вацек.

– Его и не было, – ответил хозяин «явки».

Инженер не пришел на Контную – ни вечером, ни ночью. Напрасно ждали его несколько дней. Побочными каналами Глогер выяснил, что он не был схвачен полицией – ни живым, ни мертвым. Он попросту пропал – вместе с саквояжем.

– Глогер, ты сам видел, что сейф был уже открыт?

– Да, Вацек... в нем полно было золота.

Вацек с бранью распечатал бутылку с водкой:

– Помянем Злубого его любимой песней: «Ты лейся, песня удалая, лети, кручина злая, прочь...» Теперь все нам ясно, – сказал Вацек. – Пока мы там отстреливались, прикрывая раненых, Инженер увел с банка всю главную сумму и спокойно скрылся. Я счел нужным оповестить об этом Юзефа Пилсудского, который сказал, что отныне Инженер заочно приговорен к смертной казни. Кто бы из нас и где бы его ни встретил, должен привести приговор партии в исполнение...

Глогер ознакомил Вацека с берлинской газетой:

– Читай, что пишут немцы из Познани...

Познань тогда принадлежала Германской империи. Пресса оповещала читателей, что в одну из ночей ограблен познанский банк, причем – как подчеркивалось в газете – взломщик опытной рукой нейтрализовал предохранительные «цугалтунги».

– Это он... конечно, наш Инженер! – решил Вацек. – Теперь, законспирированный и вооруженный, обладающий изворотливым умом, он способен принести немало вреда. А потому приговор остается в силе – смерть ему! Только смерть.

– Клянусь: я убью его, – отвечал Глогер...

1. Ставлю на тридцать шесть

Вечерний экспресс прибыл во французские Канны, оставив на перроне пассажиров, жаждающих исцеления от хронических катаров, подагры, бледной немочи и прочих злополучных чудес. Среди них оказался и некто Глеб Викторович Польшов, прибывший из Берна, где он состоял при русском посольстве. О причастности его к дипломатии первой известилась Жанна Лефевр, случайно оказавшаяся его соседкою по купе. Впоследствии она показала, что у нее сложилось мнение о господине Польшове как об очень порядочном и религиозном человеке:

– Он говорил, что едет в Канны не ради процедур от малокровия, а лишь затем, чтобы насладиться голосами капеллы, поющей в православном храме великомученицы Александры...

Польшов нанял у вокзала извозчика и, кажется, был уже достаточно хорошо знаком с местными условиями:

– Отвезешь меня сразу на «Виллу Дельфин», что на Рю-де-Фрежюс, дом шестьдесят восемь. Кстати, что там профессор Баратад? Работает ли у него машина для электротерапии, которую он обещал в прошлом году выписать из Берлина?

Как выяснилось позже, немецкий клиницист Баратад, содержавший для богачей лечебный отель, не запомнил среди своих пациентов Польшова – по той причине, что тот к нему не обращался. Ничего не могли добавить и русские служители храма великомученицы Александры, ибо не видели дипломата среди молящихся. Зато прислуга отеля утверждала, что Польшов всеми повадками напоминал варшавского жуира и пижона, они даже слышали, как однажды он забавно мурлыкал по-польски:

Не играл бы ты, дружок,
Не ходил бы без порток,
Сохранил бы ты портки,
Не залез бы ты в долги...

Правда, вышеназванная Жанна Лефевр потом вспомнила, что видела Польшова еще раз, когда он проводил партию в теннис с одним англичанином на санаторном корте:

– Меня не удивило, что он легко беседовал по-английски, ибо все дипломаты хорошо владеют языками...

Очевидно, господина Польшова привлекло в курортные Канны нечто другое, более важное, нежели чистота голосов православной капеллы или новейшие достижения электротерапии. В этом не ошибся и солидный портье «Виллы Дельфин», подобострастно выслушавший от Польшова первый заказ:

– Завтра приготовьте билет на вечерний поезд, я решил навестить Монте-Карло... Сколько тут ехать?

– Поезд идет один час и сорок минут.

– Вот и хорошо...

Портье с поклоном проводил богатого русского дипломата, а затем позвонил куда-то по телефону:

– Завтра. Вечерним поездом. Да. Будет играть.

Сейчас трудно решить криминальный вопрос – глуп или умен человек, который, ничего не делая, желает иметь больше других. Наверное, именно для таких людей, для глупых или

для умных, заманчиво жужжит в Европе зловещая каналья – рулетка. Сколько было охотников выявить «систему» выигрыша, какие только «теории» ни излагали ученые по вопросу «вероятности», чтобы обдурить скачущий по кругу дешевый костяной шарик, однако ничего путного из этих потуг не вышло... Читателю я напомним: с тех пор как Германия в 1873 году закрыла свою рулетку в Баден-Бадене, столицей международного азарта сделалось мизерное княжество Монако – с рулеткою в Монте-Карло, и тысячи авантюристов устремились к лучезарным пляжам Средиземного моря. Монако – это государство, в котором любой ресторанный оркестр гораздо больше всех вооруженных сил княжества. Впрочем, того нельзя сказать о тайной полиции Монте-Карло, всегда считавшейся самой виртуозной полицией Европы, и это вполне понятно, ибо где звенят большие деньги, там всегда можно сыскать преступника...

Полынов, появясь в Монте-Карло, не глазел по сторонам, как заезжий турист, напротив, он шагал уверенной походкой человека, который уже бывал здесь. Вот и казино! Дипломат равнодушно миновал его первые залы, где за столиками тряслась от алчности всякая мелко-травчатая «мелюзга», озабоченная жалким выигрышем в два-три франка, и сразу же устремился в центральный зал. Здесь шла такая большая игра, при которой можно задохнуться от счастья или застрелиться от неудачи.

Подойдя к рулетке, он произнес одно лишь слово:

– Bankoy!

– Вы сказали: bankoy? – переспросил Польшова крупье.

– Да. Играю на все, что у вас есть в кассе.

– Тогда назовите номер, мсье.

– Ставлю на тридцать шесть...

Среди публики возник невнятный шепот, прошуршали платья дам, спешащих к столу. На № 36 никто ведь не ставит, ибо на этой цифре рулетка кончается, а дальше – бездна отчаяния. Но в случае выигрыша удачника выплата ему составит колоссальную прибыль – тридцать шесть к одному!

Крупье внимательно всмотрелся в лицо Польшова:

– Пять лет назад вы были моложе, – вдруг сказал он.

– Какая память! – восхитился Польшов.

– Отличная, не спорю. Но это память скорее профессиональная. Тогда вы приезжали в Монте-Карло из...

– Берлина! – поспешил ответить дипломат.

– Вы ошиблись, сударь, и я вынужден вас поправить. Пять лет назад вы были здесь проездом из Петербурга. – Крупье замкнул лицо в непроницаемой строгости. – Впрочем, изволим играть. Итак, вам желательно ставить на тридцать шесть?

Он раскрутил колесо фортуны, шарик долго метался по кругу, ударившись в лунку под № 36, раздался общий возглас:

– Rie ne va plus: № 36.

– Сорван, – одним дыханием пронеслось в публике.

– Банк сорван, – бесстрастно провозгласил крупье, и широким жестом он закрыл рулетку плащом черного крепа, как закрывают павшего в битве рыцаря. Это значило, что за его столом игры не будет, ибо в кассе не стало денег...

Польшов даже не успел спросить, каков его выигрыш, когда к нему вдруг подошел служитель казино:

– Простите, мсье. Вас просят к телефону.

Что-то судорожно изменилось в холеном лице дипломата, он даже сделал шаг в сторону, но служитель, имевший комплекцию борца тяжелого веса, преградил ему дорогу к дверям.

– Вас просят... срочно, – повторил он.

– Хорошо. Откуда?

– Из Берна... из русского посольства.

Полынов двинулся в служебный кабинет, сопровождаемый громилой из казино. В кабинете его ожидал солидный господин, который сразу же протянул ему трубку телефона.

– Слишком серьезный разговор, – предупредил он.

В трубке раздался повелительный голос:

– Мсье Полынов, положите оружие на стол и...

Трубка полетела в голову солидного господина. Рука Полынова уже исчезла в кармане, но тут же была перехвачена верзилой, который покрутил выхваченным из руки револьвером.

– Вот и все, – сказал он. – Можно вписать в протокол: браунинг системы «диктатор». Калибр: шесть тридцать пять. Выпущен шведской фирмой «Гускварна»...

Солидный господин приложил к голове платок.

– Это вы сделали напрасно, – сказал он Полынову. – Сами осложняете судьбу. Однако я не откажу себе в удовольствии представиться: комиссар бельгийской полиции дю Шатле.

Полынов надменно выпрямился перед ним:

– Вы меня с кем-то путаете. Могу сразу предъявить дипломатический паспорт. Я уже второй год служу в Берне вторым секретарем российского посольства. Клянусь вам честью, комиссар, произошла какая-то нелепая с вашей стороны ошибка.

Комиссар потрогал рассеченную трубкой голову:

– Конечно, с вашей стороны была чудовищная ошибка ограбить почтовый вагон курьерского поезда Льеж – Люксембург...

Со звоном вылетело окно – Полынов, весь в сверкающем нимбе стекольных осколков, выпрыгнул со второго этажа. Это не произвело на дю Шатле никакого впечатления.

– Мы это учли, – сказал он. – Внизу наши люди...

Когда он спустился вниз, руки Полынова уже стянули обода наручников, его заталкивали в тюремный фургон.

– Послушайте, – сказал он комиссару, – я прошу об одном: у меня в отеле «Вилла Дельфин» остался саквояж...

– Э, об этом не стоит беспокоиться, – утешил его дю Шатле. – Ваш саквояж взят нами, и тех денег, что в нем обнаружены, вполне хватит расплатиться за ограбление нашего почтового вагона. Но мы еще не знаем, куда делись те денежки, что взяты вами из кассы германского банка в Познани!

Расшатанный микст-вагон мотало на поворотах, за окном купе пролетали желтые огни городов Прованса, потом нахлынула тьма, лишь где-то очень далеко угадывалось передвижение гигантских табунов лошадей. Комиссар полиции дю Шатле просил арестованного ложиться спать, но прежде велел ему снять штаны.

– Так вы не убежите, – сказал он...

Полынов покорно разместился на нижней полке, а в его усталой голове пульсировал, словно метроном, банальный мотив: «Не играл бы ты, дружок, не остался б без порток...»

– Мне вся эта история кажется забавной. Зачем мне ваш почтовый вагон, если я человек богатый и никогда в жизни не ездил в подобных «микстах», сразу за паровозом.

К оконному стеклу жарко прилипали раскаленные искры из трубы локомотива, рвавшегося на север Европы.

– Бросьте! – отмахнулся дю Шатле. – По прибытии в Брюссель вы расскажете мне все. И перестаньте изображать передо мною русского Талейрана, о потере которого будет скорбеть вся мыслящая Россия... Я ведь еще не спрашивал вас, кто вы такой и откуда вы свалились на попечение бельгийской полиции.

– Не мешайте спать, – резко ответил Польшов.

Он закрыл глаза, и ему виделся белый город на берегах великой русской реки. Вечером улицы наполняли визг и скрежет старого ржавого железа – это купцы, подсчитав выручку, запирали дедовские замки амбаров, и разом начинали лаять собаки, которых до утра спускали с цепи. А на фоне этого патриархального декора русской провинции вырастало сказочное видение образцового гроба, который мастер-искусник украсил резьбой и всякими завитками, как кондитер украшает праздничный торт цукатами и орешками. Наконец Польшову виделся и он сам, юный лицеист, вылезающий из этого гроба, наполненного стружками. А над конторой похоронных принадлежностей пыжилась вывеска: «Мещанинъ С. В. ПРИДУРКИНЪ. У него лучшие гробы в мире...»

Ничего не понятно! Но все прояснится потом.

2. Выдать его с потрохами

До создания международной полиции (ныне знаменитого ИНТЕРПОЛа) человечество еще не додумалось. Но в полицейской практике государств Европы уже существовал обычай делиться информацией о розыске преступников. Полиции любезно обменивались приметами рецидивистов, в их розыске уже применялось фотографирование, но дактилоскопия еще не завоевала должного авторитета среди криминалистов. Впрочем, в брюссельской тюрьме Польша сфотографировали в фас и в профиль, даже взяли отпечатки пальцев. Однако полицейские архивы столиц Европы не подтвердили польских данных по своим картотекам. На проверку ушло немало времени, после чего дю Шатле пожелал видеть Польша. На этот раз комиссар полиции выглядел явно озабоченным:

– Что вы делали в швейцарском Монтре?

– Когда?

– Весною этого года...

Польша прежде как следует обдумал ответ:

– Я догадываюсь, почему вы спросили меня о Монтре... Да, там была уличная перестрелка, в которой оказался замешан какой-то русский. Но я ведь не русский, а выдавал себя за чиновника царского посольства для собственного удобства.

Дю Шатле, кажется, начинал устраивать и такой вариант легенды. Он угостил Польша отличной сигарой.

– В конце-то концов, – сказал он, – правительству моего короля ваша судьба глубоко безразлична. Престиж бельгийской полиции не пострадает, если вы избежите когтей нашего кодекса. Тем более что содержимое вашего саквояжа уже полностью возместило потери того почтового вагона...

– К которому я не имею никакого отношения!

– Ладно, ладно, – примирительно проворчал комиссар. – Не старайтесь меня профанировать. Мы, бельгийцы, придерживаемся в Европе добрых отношений со всеми странами, и нам совсем не хотелось бы вызывать лишнее раздражение Берлина.

– Не понял вас, господин комиссар.

– Сейчас поймете. Эта прошлогодняя история с налетом на банк в Лодзи берлинским криминалистам кажется связанной с ограблением частного банка в Познани... А – вам?

Польша неуверенно хмыкнул.

– Напрасно изображаете равнодушие, – заметил дю Шатле. – Вам предстоит потерять его, если узнаете, что берлинский полицейский-президиум потребовал вашей выдачи – как рецидивиста, совершившего преступление в Германии, и мне жаль вас, – сказал комиссар, – ибо на Александерплац вас ждут серьезные испытания.

На этот раз Польша путешествовал не в «миксте», а в немецком вагоне для арестантов, втиснутый в клетку, как опасный зверь. Берлина он так и не увидел, прямо из вагона перемещенный в тюремный фургон, а из фургона был сразу же пересажен в камеру. Возле двери этой камеры Польша невольно остановился, задержав внимание на ее нумерации.

– Тридцать шестая? – удивился он. – Уж не расплата ли за игру в рулетку? Впрочем, я не рассчитывал на ваш юмор.

Свирепый удар кулаком в затылок обрушил его на асфальтовый пол, отполированный до нестерпимого блеска. Польша оказался в знаменитой тюрьме Моабит, где очень высоко оценивали чистосердечное признание, не беспокоясь о том, какими способами это признание достигается от человека... Поднявшись с пола, Польша вытер кровь с разбитого лица.

– Ставлю на тридцать шесть! – прошептал он себе. – А иначе и не стоит играть... Только бы не забыть этот дурацкий номер счета в банке Гонконга: XVC-23847/A-835...

После месяца допросов он был уже развалиной, и никто бы не признал в нем того импозантного господина, который выдавал себя за процветающего дипломата. Вместо лица образовалась разбухшая маска, губы едва двигались, а нестерпимая боль в ребрах не давала ему выспаться. Наконец следователь Шолль отбил ему почки, и однажды Польшов с ужасом заметил, что в его моче появилась кровь... Соседние камеры занимали два уголовника, которые, сочувствуя Польшову, надоумили его:

– Вас очень скоро доведут до крайности, потому лучше сознаться. Только не вздумайте объявлять голодовку, в Моабите таких нежностей не понимают. На пятый день вам загонят под хвост такой питательный зонд, что вы согласитесь жрать даже поджаренное дерьмо, поданное вам на сковородке.

– Мне не в чем сознаваться, – ответил Польшов.

– В этом случае выгоднее для здоровья придумать себе любое преступление, лишь бы избавиться от криминальных услуг Александерплаца... Вы, кстати, мало похожи на немца. Не лучше ли вам сразу потребовать выдачи на родину?

– Боюсь, что на родине я буду сразу повешен.

– Тогда... желаем сохранить мужество!

Следователь Шолль топтал Польшова ногами:

– Нам плевать на тот льежский вагон и на все, что случилось в русской Лодзи! Но мы должны знать, куда ты подевал наши деньги из познанского банка? Так отвечай, отвечай, отвечай...

Уставая бить Польшова, он потом говорил ему:

– Мне уже надоела возня с вами. Не забывайте, что улики против вас не требуют дополнений. Страховочные «цугалтунги» в сейфах банков как в Лодзи, так и в Познани были обезврежены одинаковым приемом. Бельгийский комиссар дю Шатле оказался столь расположен к нам, что переслал из вашего саквояжа... нет, не деньги! Мы получили от него набор инструментов, которым вы открывали сейфы, а все эти отмычки явно русского происхождения. Так я еще раз спрашиваю – кто вы?

Польшов вдруг страшно разрыдался. Кажется, начинался кризис, и Шолль, подойдя к нему, плачущему, постукивая его пальцем по плечу, внушал как педагог раскаявшемуся ученику:

– Мы догадываемся, что вы – поляк или русский. Но вы никак не должны надеяться, что газета «Форвертс» обеспокоится вашей судьбой. В глазах немецких политиков вы всегда будете оставаться только грабителем, презренным вором, недостойным даже примитивной жалости обывателя... Если у вас в России привыкли взрывать, убивать и грабить, то здесь, в старой добродорядочной Германии, этот номер не пройдет... Назовите себя!

– Я ничего не знаю. Мне очень нехорошо.

– Из какой ты страны, вонючая сволочь?

– Я ничего не помню, – отвечал Польшов рыдая...

Шолль бил его по голове тяжелым пресс-папье.

– Пойми! – доказывал он. – То, что случилось в Бельгии с этим экспрессом, нас мало волнует. Зато мы должны заверить нашу общественность, что преступление в Познани раскрыто, а преступник понес наказание... Ну? Пять лет тюрьмы... ты слышишь? Всего-то пять лет! Обещаю из Моабита перевести тебя в Мюнхенскую тюрьму. Отличная жратва. Вентиляция в камерах. Прогулки и переписка. Говори же... ну? Говори, говори, говори!

– Меня в Познани никто не видел, – отвечал Польшов...

Комиссаром по криминальным делам в Берлине был граф фон Арним – холеный аристократ, внешне напоминающий британского милорда. Невозмутимо он выслушал доклад следователя Шолля:

– С этим упрямым идиотом, мне думается, дело гораздо серьезнее, нежели с обычным взломщиком. Очевидно, у него имеются основательные причины для того, чтобы молчать о себе. Сейчас он уже полностью падшая личность, часто плачет на допросах и остается силен только в одном – в своем молчании.

– У вас сложились какие-либо выводы? – спросил граф.

– Подозрения! Я подозреваю, что это... провокатор, каких департамент тайной полиции Петербурга немало содержит в городах Европы для наблюдения за эмигрантами-революционерами. Но, кажется, он решил подзаработать на уголовщине, а теперь, пойманный, страшит разоблачения. Не здесь ли причина его упорного запираательства на допросах и ссылки на потерю памяти?

Граф фон Арним через окно оглядел Александерплац, где ерзали на повороте трамваи, спешили по своим обычным делам берлинцы, а дамы придерживали в руках края своих юбок, чтобы не подметать ими панели. Граф задернул на окне плотную штору.

– Не спорю, – было им сказано, – тут что-то есть... Сегодня я как раз ужинаю в «Альтоне» с господином Гартингом и надеюсь: он поможет нам разобраться в этом случае. Но, если он русский, как вы полагаете, нам предстоит выдать его на расправу в Санкт-Петербург... со всеми его отбитыми потрохами!

Гартинг в ту пору возглавлял работу царской «охранки» в Берлине, за что и получил недавно от кайзера орден Красного Орла. Гартинг согласился повидать преступника, чтобы рассеять сомнения своих германских коллег по ремеслу.

Свидание состоялось в камере для адвокатов.

– Нет, я не адвокат, – заявил Гартинг. – Я представляю солидную «Армендирекцион», попечительство о бедных не только в больницах Берлина, но и в тюрьмах. Насколько нам известно, у вас нет ближайших родственников в Германии, но мы крайне заинтересованы в их розыске, дабы помочь вам...

– Не старайтесь схватить меня за язык, – сразу пресек его Польшов. – Я плевать хотел на все ваши попечительства! А родственников у меня – как у серого волка в темном лесу...

Гартинг потом говорил фон Арниму:

– Нет, эта лошадка не из нашей конюшни, и под каким седлом она скачет – неизвестно. Скорее технически образованный взломщик, каких в Европе немало... Не исключено, – добавил Гартинг, – что лодзинские пэпээсовцы попросту наняли его для экса, чтобы он исполнил ту работу, на которую сами они не способны...

Польшов словно подслушал это мнение Гартинга, настойчиво требуя вызова к следователю. Шолль, конечно, не отказал ему в свидании, догадываясь, что дело идет к концу.

– Не хватит ли нам заниматься болтовней? Мне, честно говоря, давно жаль того гороха, который ты пожираешь с казенной похлебкой. Выдворить тебя из Германии ко всем чертям – вот лучший способ избавиться от лишних бумаг, и на этом давай дело закроем. Называй страну, которая произвела тебя...

Польшов сказал, что решил сознаться:

– Да, я – русский, и прошу выдать меня России, где, я рассчитываю, со мной разберутся лучше, нежели в Берлине.

– Давно бы так! – обрадовался Шолль. – Тем более между нашим кайзером и вашим царем имеется благородная договоренность о выдаче преступников. Мы просто не успеваем перекидывать через шлагбаум ваших социалистов...

Польшов – неожиданно! – проявил знание международного права, гласившего, что выдача преступника возможна лишь в том случае, «если деяние является наказуемым по уго-

ловным законам как того государства, от которого требуется выдача, так и того государства, которое требует его выдачи».

– Отчасти я знаком с этим вопросом... как дипломат! – криво усмехнулся Польшов. – Хорошо извещен о решении королевской комиссии Англии от 1878 года, приходилось листать и Оксфордскую резолюцию о выдаче беглых преступников. Юридическая неразбериха начинается именно с того момента, когда уголовное преступление пытаются отделить от политического. Памятуя об ответственности, я снимаю с себя всякие подозрения в принадлежности к политике, желая осчастливить свое отечество возвращением лишь в амплу уголовного преступника.

Следователю пришлось здорово удивиться:

– Послушайте, кто вы такой? Черт вас побери, но я впервые встречаю грабителя, который бы цитировал мне статьи международного права... Назовитесь хоть сейчас – кто вы такой?

Польшов в ответ слегка поклонился:

– Вы уже добились от меня признания в том, что я русский подданный. Так оставьте же для царской полиции большое удовольствие – установить мою личность.

– Хорошо, – призадумался Шолль. – Но я желал бы, чтобы у вас о нашей криминаль-полиции сохранились самые приятные воспоминания.

– В этом не сомневайтесь, – обещал ему Польшов.

Следователь, кажется, не проникся его юмором:

– Думаю, в России вас обработают еще лучше нас...

На запасных путях пограничной станции Вержболово немецкая криминаль-полиция передала его русской полиции. Снова тюремный вагон с решеткой на окне, но теперь в окне виделось совсем иное: вместо распластанных, как простыни, гладких шоссе пролетали жалкие проселки, вместо кирпичных домов сельских бауэров кособочились под дождями жалкие избенки. И над древними погостами усопших предков кружило черное воронье...

В двери вагонной камеры откинулось окошко, выглянуло круглое лицо солдата, он поставил кружку с чаем и хлеб.

– Ты, мил человек, не за политику ли страдаешь?

– Нет. Я кассы брал. Со взломом.

– Хорошо ли это – чужое у людей отымать?

– Затем и поехал в Европу, чтобы своих не обидеть.

– Тебя зачем в Питер-то везут?

– Вешать.

– Чаво-чаво?

– Повесят, говорю. За шею, как водится.

– Так надо бы у немцев остаться. Они, чай, добрее.

– Все, брат, добренькие, пока сундуков их не тронешь. Тут политика простая: мое – свое, твое – не мое.

– И я так думаю, – сказал солдат. – Ты мое тока тронь, я тебе таких фонарей наставлю, что и ночью светло покажется...

Поезд, наращивая скорость, лихорадочно поглощал нелюдимые пространства, и кружило над погостами воронье. «Bankó, bankó, bankó», – отстукивали колеса, а в памяти Польшова навсегда утвердился загадочный № XVC-23847/A-835.

...Вацек не ошибался: этот человек способен на все!

3. В сладком дыму Отечества

Молодой штаб-ротмистр Щелкалов встретил его в кабинете, стоя спиной к черному вечернему окну, в квадрате которого соблазнительно пылали фееричные огни Петербурга.

– Поздравляю с прибытием, – начал жандарм приветливо. – Как помнится всем из гимназической хрестоматии, «и дым отечества нам сладок и приятен». Итак, вы снова в любезных сердцу краях, а посему стесняться вам уже нечего. Конечно, вы ехали сюда, заранее решив, что говорить с нами не станете... Ведь так?

– Примерно так, – не возражал Полынов.

Щелкалов уселся в кресле, спросив душевно:

– Между нами. Как там условия в Моабите?

– Дрянные. Много бьют и мало кормят.

– А в наших «Крестах»?

– Лучше. Но похоже на монастырь для грешников.

– Что делать? Пенитенциарная система. Испытание человека одиночеством. Вас оно не слишком угнетает?

– Да нет. Спасибо. Я люблю одиночество.

– А почему любите, позволю спросить вас?

– По моему мнению, человек бывает сильным, когда становится одинок. Одиночка отвечает только за себя. В толпе же индивидуум обречен жить мнением толпы... стада! А лучшие мысли все-таки рождаются в трагическом одиночестве.

Щелкалов не стал ломать голову над сказанным ему:

– В некоторой степени все это отрывка нищезанятия. Правда, я не большой знаток всяких там философий. Но кое-что, признаться, почитывал... Хотя бы по долгу службы. Можно я буду называть вас по имени-отчеству? Кажется, Глеб Викторович?

– А мне все равно. И вам тоже. Вы ведь, господин штаб-ротмистр, сами догадываетесь, что это мое фиктивное имя.

– Может, представитесь подлинным? Я, как следовательно, обязан выяснить, кто вы такой... Наверное, социалист?

Эта фраза привела Полынова в игривое настроение:

– Избавьте! Социалисты желали бы создать такой государственный строй, при котором я буду для них попросту вреден, и таких, как я, они постараются сразу уничтожить.

– Согласен, – кивнул Щелкалов. – Но существует немало оттенков общего недовольства: безначальцы, махаевцы, анархисты и прочая «богема революций». Достаточно вспомнить взрыв ресторана «Бристоль» в Варшаве, взрыв бомбы в одесском кафе Либмана... Случайно не догадываетесь, чья это работа?

– Вы меня в свою работу не впутывайте, – твердо произнес Полынов. – Да, я знаком с учением анархизма, но целиком эмансипирован от какого-либо партийного контроля. По натуре я крайний индивидуалист и не только государство, но даже семью считаю уздой для каждого свободного человека. Поверьте, что нет еще такой женщины, которая могла бы повести меня за собой.

– Угадываю штирнеровские мотивы с его постулатами священного эгоизма... Ваше образование? – вдруг резко спросил Щелкалов.

– Я самоучка, – отметил Полынов.

– Определите поточнее свое политическое лицо.

– У меня лицо благородного уголовника с тенденциями полного раскрепощения свободной и независимой личности.

– Удобная позиция! – сказал Щелкалов со смехом. – Обчистили банк по идейным соображениям, а денежки остались эмансипированы от партийного контроля... Вернемся к делу. Я не верю в иванов, не помнящих родства. Как мне называть вас?

– Не лучше ли остановиться на том имени, под которым я был задержан бельгийской полицией? Впрочем, я все уже выблевал из себя в Берлине, а дома я блевать не желаю.

Щелкалов водрузил длань на пухлое досье:

– Но по этим вот документам, присланным с Александерплац, из вас с трудом выдавили признание в национальности. Давайте не спеша разберемся в том, что произошло. Вас взяли за рулеткой, когда вы пожелали одним махом увеличить свои капиталы. Скажите, что двигало вами тогда? Для каких целей вы готовили это немалое состояние? Вы... молчите?

Полынов напряженно вздохнул:

– Я, конечно, глупо попался. Мне надо бы махнуть в Канаду или затеряться в Австралии, а я, как наивный глупец, полез прямо в Монте-Карло... Чего я там не видел, спрашивается?

– Вы не ответили на мой вопрос, а ведь он по существу дела, – напомнил Щелкалов. – Если вы добывали деньги, чтобы разъезжать по курортам, кутить с красивыми женщинами и наслаждаться – это статья чисто уголовная. Но, если вы шли на смертельный риск, дабы добыть средства для какой-либо революционной партии, – тут статья другая, и вы предстанете передо мною в иной ипостаси. Отчего меняется и мера наказания...

Ответ Полынова прозвучал иносказательно:

– У каждого из дьяволов есть собственный ад, и в этот личный ад не посмеет войти даже Вельзевул!

– Я все-таки склонен думать о ваших лучших намерениях, – настаивал Щелкалов. – Согласитесь, что экссы дискредитируют революции, заодно оправдывая в глазах обывателя все суровые репрессии правительства против революционеров.

– Логично, – согласился Полынов. – Но ко мне логика вашего жандармского мышления никак не относится.

– Из этого ответа я понял, что вам сейчас выгоднее остаться в облике взломщика, нежели предстать перед судом идейным человеком... Я не ошибся? – тонко подметил штаб-ротмистр.

Полынова даже передернуло.

– Оставим это! – раздраженно выкрикнул он. – Беру на себя почтовый вагон льежского экспресса, и этого достаточно.

Щелкалов нагнулся и достал из-под стола саквояж, из которого принялся вынимать воровские инструменты – они были на диво блестящими и отточенными, подобно хирургическим.

– Хорошо. От статьи политической возвращаемся к уголовной, и здесь я вынужден признать, что вы работали как опытный профессионал. С почтовым вагоном все ясно. Познать мы пока оставим в покое, как чужой для нас город... Но... Лодзь?

Полынов вдруг торопливо заговорил:

– Вы правы, лучше не касаться политики. Да, я принимал участие в налете на Коммерческий банк Лодзи, но, поверьте, никакого отношения к тамошним революционерам не имел. Просто они наняли меня как опытного взломщика для вскрытия сейфа, обещая мне три процента со взятой с кассы банка суммы.

– И после того, как эта касса банка вами была вскрыта, вы взяли все сто процентов выручки и скрылись?

– Не дурак же я, чтобы соваться в общий зал, где косили публику, как траву. А этих пэпээсовцев я, клянусь, знать не знаю, я даже лиц-то их не запомнил...

Щелкалов подумал и вдруг развеселился:

– Слушайте, вы случайно не ярославский ли?

– Почему вы так решили? – испуганно спросил Полынов.

– По выговору. На сегодня закончим...

Полынов поднялся и направился к дверям. Прямо в спину ему, уходящему, жандарм врезал одно лишь слово, но такое убийственное, словно всадил острый нож под лопатку:

– Инженер!

Полынов, уже берясь за ручку дверей, повернулся:

– Простите, это вы мне?

– Вам, вам, вам, – говорил Щелкалов, подходя к нему. – Не хватит ли врать? Или вам казалось, что после Брюсселя и Александерплац вам уже все нипочем? А здесь сидят русские придурки, которых вы обведете вокруг пальца. Я вытрясу из вас душу, но дознаюсь до истины. Вы там, в банке, оставили труп своего товарища. Да мы кое-кого уже взяли. Повесим! Так что не обессудьте, если веревка коснется и вашей шеи...

Вернувшись к столу, штаб-ротмистр наскоро записал на отрывном календаре: «Холодная жестокость. Изворотлив, аки гад подколотный. Первое впечатление даже хорошее, но оно испорчено противным взглядом. Впрочем, такие вот негодяи, очевидно, всегда нравятся женщинам – именно чистым и непорочным...»

Департамент полиции недавно возглавил Алексей Александрович Лопухин, человек умный и решительный (позже он передал революционерам данные о провокаторах, работавших в их подполье, был изгнан со службы, публично ошельмован и сослан, а закончил свою жизнь банковским служащим в СССР).

Через стекла пенсне Лопухин взирал на Щелкалова.

– Что за ерунда! – фыркнул он. – Убежденный человек идет на экс, рискуя башкой, а когда банк взят, удирает с наличными, как последний жулик... Выяснили, кто он такой?

– Молчит, будто проклятый, и боюсь, что в этом вопросе он всегда будет уходить от ответа. Попробую поднять архивы прошлых лет департамента, – обещал Щелкалов, – может, что-то и проявится существенное с этой «Железной Маской».

Поразмыслив, штаб-ротмистр навестил тюрьму «Кресты» на Выборгской стороне Петербурга, переговорил со старшим надзирателем, выведывая у него о настроении Полынова.

– Особенно ничего не замечено. Претензий не заявлял. Характер спокойный. От прогулок иногда отказывается, а гуляет подальше от политических. Вроде бы он сторонится их...

Щелкалов просил отвести его в камеру Полынова:

– В этой же камере когда-то уже сидел некто, который, подобно вам, желал остаться неизвестным. Он даже купил себе канарейку, чтобы она услаждала его духовное томление. Знаете ли вы, чем он расплатился за свое молчание?

– Чем?

– Мы просто сгноили его в одиночке. Не хочешь называть себя – ну и черт с тобой – подыхай, если тебе так хочется. Ваше счастье, что полицию возглавил Лопухин, и он, человек гуманных воззрений, не пожелает оставаться в истории вроде Малюты Скуратова, а вам я не советую оставаться самозванцем.

– Ну, – откликнулся Полынов, – если я и Дмитрий Самозванец, то, поверьте, не из захудалого рода дворян Отрепьевых...

Щелкалов вечером позвонил в «Кресты»:

– Доложите, каково было состояние моего подследственного после того, как я посетовал его в одиночной камере.

– Он вдруг развеселился и просил купить канарейку...

Щелкалов вскоре вошел к Лопухину с очередным докладом:

– Кажется, я ухватился за хвостик этой веревки. Как вам известно, при экспроприации в Лодзи был некто по кличке «Инженер». Теперь, перерыв архивы полиции, я обнаружил, что пять лет назад в «Крестах» сидел тоже некто...

– Кто же именно? – спросил Лопухин.

– В столичном свете он был известен под именем Ивана Агапитовича Боднарского, а среди приятелей просто Инженер.

– Любопытно. Дальше!

– Боднарский приехал в Санкт-Петербург из какой-то провинции, владел языками, имел отличные манеры, пользовался большим успехом у женщин. Из рассказов же его получалось так, что он хорошо знает всю Европу, не раз бывал в Южной Азии и даже во французском или испанском Алжире...

– Дальше!

– В столице он держал частную техническую контору под вывеской «Чертежная», но брался за любое дело – вплоть до изготовления секретных замков и казенных штемпелей. Успех в обществе помог ему выйти в чин коллежского асессора.

– Дальше!

– На этом волшебная феерия закончилась. Известно лишь, что Боднарский оказался самозванцем. Никакого технического образования не имел. Но следствие так и не дозналось, откуда он взялся и каково его подлинное имя. В деле сохранились сомнительные догадки, что мать его, кажется, полячка из Гродно, урожденная пани Целиковская... Но это тоже предположение.

– Слишком много версий и ничего определенного, – сказал Лопухин. – А куда же этот самородок делся?

– Бежал с помощью уголовников. Но в делах по эксам мелькают клички: «Инженер», «Король», «Пан» и «Рулет».

Лопухин долго протирал стекла пенсне:

– Если это и роман, то должна быть сноска петитом, как указывают в журналах: «продолжение следует».

– Продолжение следует! Столичный доктор Бертенсон однажды повстречал Боднарского в Монте-Карло, где Инженер играл. Причем, как вспоминал Бертенсон, он ставил сразу на тридцать шесть, чего нормальный человек никогда делать не станет.

– Как сказать, – поежился в кресле Лопухин. – Может, на тридцать шесть и ставят самые нормальные... Все равно с этим пора кончать! Завтра я сам поговорю с ним!

Встреча состоялась, и Алексей Александрович даже не предложил узнику сесть, оставив его стоять посреди кабинета.

– Я не спрашиваю вас, почему вы впали в крайности уголовщины. Мне уже наплевать, кто вы – самозванный инженер Боднарский или же самозванный дипломат Польшов... Вопрос о вашей судьбе отлично разрешает статья девятьсот пятьдесят четвертая Уложения о наказаниях Российской империи, карающая за сокрытие имени, природного звания и места жительства.

– Благодарю – не ожидал! – усмехнулся Польшов.

– Не спешите благодарить, – ответил Лопухин. – В совокупности с этой статьей дарим вам статью, карающую грабительство со взломом. В общем итоге это составит наказание не в четыре, а уже в пятнадцать лет каторжных работ.

Польшов сказал, что у него есть просьба:

– Я согласен и на пятнадцать лет каторги, только избавьте меня от общения с политическими, болтовни которых о свободе, равенстве и братстве я органически не выношу.

Лопухин правильно рассудил, что у этого человека имеются серьезные причины избегать встреч с политическими ссыльными даже на каторге. Он поиграл портсигаром и сказал:

– Вашу просьбу исполню: вы будете сосланы туда, где политических считанные единицы. Сахалин – вот это место!

Щелкалов распорядился заковать Польшова в кандалы:

– Готовя салат, не следует забывать об уксусе.

– Вы правы, – ответил ему Польшов. – Но вы забыли, что любой вкуснейший салат можно испортить избытком уксуса...

Его заковывали перед отправкой в Одессу, но при этом Польшов хитрым «вольтом» сунул кузнецу сорок рублей.

– Чтобы на штифтах, – тихо шепнул он ему.

Тюремный кузнец, получив взятку, не стал заклепывать кандалы, а скрепил их штифтами, которые при случае легко вынуть, чтобы избавиться от кандалов. Но сделаны эти штифты были столь искусно, что выглядели очень прочными заклепками.

– Ты куда? – спросил кузнец, закончив работу.

– На Сахалин.

– Наплачешься там.

– Ничего. Люди везде живут.

– Ну, валяй с богом... живи!

Из допросов Польшов понял, что «боевка» Вацка разгромлена, а на Сахалине «политические» вряд ли его знают. Там он не встретит ни Юзефа Пилсудского, ни тем более Глогера...

4. Русский «великий трек»

Если у американцев был Дикий Запад, то у нас был Дикий Восток, и наш российский «великий трек» к Тихому океану выглядел опаснее и намного длиннее «великого трека» Америки, которая однажды, громыхая фургонами, устремилась к выжженным прериям западных штатов. За исторически краткий срок русские прошли всю Сибирь, освоили Колыму, Курилы и Камчатку, перемахнули океан под парусом и на веслах, стали соседями краснокожих на Аляске, граничили с испанскими владениями в Калифорнии...

Да, это был воистину «великий трек»!

Иностранцы не отрицают величия подвига русских землепроходцев, которые со времен Ермака быстро достигли тех мест, где сейчас буйно пульсирует жизнь американского Сан-Франциско. Оксфордский профессор Джон Бейкер писал, что «продвижение русских через Сибирь в течение XVII века шло с ошеломляющей быстротой... на долю этого неизвестного воинства достался такой подвиг, который навсегда останется памятником его мужеству и предприимчивости, равного которому не совершил никакой другой европейский народ». Но остров Сахалин, лежащий, казалось бы, совсем рядом с Россией, мы, русские, освоили гораздо позже, нежели Аляску, Камчатку, Курилы и Калифорнию...

Наши далекие предки не сомневались в том, что Сахалин является островом, отделенным от материка узким проливом. Но карты старых времен затерялись (или были похищены), в Европе сложилось мнение, будто Сахалин – полуостров, и ученые Петербурга поверили в это. Знаменитый мореплаватель Лаперуз своим авторитетом утвердил невежество в географии, и только подвиг моряков Геннадия Невельского рассеял туман роковых заблуждений над кошмарною узостью Татарского пролива.

Впрочем, такое название – тоже ошибка! Отделяющий Сахалин от материка, этот пролив никакого отношения к татарам не имеет. Европа долгое время считала, что где-то у черта на куличках, далеко за Сибирью, процветает легендарная страна «Татария», и Лаперуз, веривший в эту мифическую страну, так и назвал пролив – Татарским. Правда, история позже внесла незначительную поправку: самое узкое место Татарского пролива нарекли проливом Невельского. Нас уже не смущает, почему на картах Дальнего Востока встречаются названия, странные для русского слуха. Когда Лаперуз проплывал мимо черного мыса (где позже светил кораблям маяк «Жонкьер»), он воскликнул, обращаясь к спутнику:

– Мичман де ла Жонкьер, вот мыс вашего имени...

Напротив Сахалина он отыскал удобную бухту.

– Лейтенант де Кастри, вот залив вашего имени...

Мы привыкли к этим названиям и не станем менять их, как не меняем и названий тех мест, какие давал Невельской – по именам офицеров своего корабля. Само же слово «Сахалин» – маньчжурское, так называли безлюдный островок, никакого отношения к нашему Сахалину не имеющий.

Кому же принадлежала эта странная земля?

В документах XVII века маньчжурской династии Цин, правившей в Китае, Сахалин не упоминается в числе китайских владений. Японцы же иногда приплывали на Сахалин, но только летом, а зимовать возвращались на теплую родину. Сахалин населяли гиляки (нивхи), орофоны и айны. Со слов этих аборигенов было известно, что в далекие времена среди них уже проживали русские. Туземцы даже сохранили листок из Псалтыря, на полях которого были перечислены в поминание православные имена: Иван, Данила, Петр, Сергей, Василий. Спут-

ники Невельского нашли на Сахалине селения, в жителях которых внешний облик, язык и повадки, даже предметы быта чем-то напоминали родное – русское. Аборигены не отрицали, что их предки еще в древности породнились с русскими, пришедшими «Вон оттуда!» – и показывали руками на запад...

Айны называли японцев словом «сизам». Русским морякам они рассказывали: «Сизам спит, айно работает, айно не хотел работать – сизам его больно бил». Изредка в лесах встречались японские амбары, набитые ценными мехами, награбленными у местных жителей, на дверях висели замки, честность же гиляков и айнов была такова, что замок мог ржаветь годами, и никто его даже не тронул. В 1852 году на Сахалине побывал лейтенант Н. К. Бошняк и обнаружил там несколько выходов угля.

В 1857 году был заложен на Сахалине первый пост – Дуэ, началась добыча каменного угля для нужд русского флота. Отношение к природе на Сахалине было тогда самое хищническое, древние леса постоянно трещали пожарами, а жители острова даже не обращали на них внимания, говоря так:

– Велика ль беда? Догорит до речки и сам потухнет...

В царствование Александра II назвали две насущные проблемы, казалось, неразрешимые: отсутствие свободных земель, отчего в народе возникала бескормица, и нехватка тюрем, где узники спали буквально друг на друге. Министры докладывали императору:

– Тюремный вопрос в России – один из насущных вопросов современной жизни. Если остроги в Сибири уже перегружены арестантами, то никак не лучше положение и в каторжных тюрьмах европейской части империи. Нельзя, чтобы торжественный фасад великой державы открывался тюремными воротами. Требуется решение, дабы в корне изменить эту позорную и неприглядную ситуацию...

Вот тогда-то взоры сановников обратились к далекому Сахалину, и вскоре сложилось официальное мнение:

– О чем долго говорить? – рассуждали в сенате. – Французы заселили Новую Каледонию преступниками – и теперь там живут как у Христа за пазухой. Англичане всех своих жуликов выслали без лишних разговоров в Австралию – и теперь там возникла богатейшая колония, кормящая ту же Англию... Разве мы не можем повторить сей опыт на примере нашего Сахалина?

В 1869 году с кораблей сошли на берег острова первые каторжане, и, если верить очевидцам, многие из них горько рыдали, увидев, куда они попали. Но вместе с каторжанами заливались слезами и конвойные солдаты, их охранявшие... Чехов, подплывая к Сахалину, тоже испытал щемящее чувство тревоги, ностальгии, отчасти даже страха. В самом деле – картина была жуткая. Силуэты мрачных гор окутывал дым; где-то поверху, вровень с небесами, хлопотали языки пламени от лесных пожаров; свет маяка едва проницал этот ад, а гигантские киты, плавая неподалеку, выбрасывали струи парящих фонтанов, кувыркаясь в море, как доисторические чудища. Но если было неуютно даже писателю Чехову, то каково было видеть эту картину каторжанам, которым предстояло здесь жить и умирать? Не тогда ли и сложились их знаменитые поговорки о Сахалине: «Вокруг море, а посередке – горе, вокруг вода, а внутри – беда...»

И если раньше в народе с ужасом произносили слова – Шилка, Акатуй, Нерчинск, Якутка, так теперь на Сахалине с содроганием говорили – Дуэ, Арково, Онор, Дербинка – это названия тюрем, вокруг которых быстро разрастались людские селения.

Но еще до появления каторжан на остров прибыли первые колонисты-добровольцы – вольные поселенцы, соблазненные обилием нетронутой земли, где нет исправника, нет и поме-

щика. Эти наивные бедняги пришли сюда созидать новую жизнь – с детишками и женами, с сундуками и барахлом, им обещали каждому по корове, по мешку зерна, чтобы могли засеять первое поле. Судьба их оказалась трагической! Людей высадили с корабля не там, где следовало, им пришлось прорубать просеку в тайге, чтобы добраться до своих «выселок». Повалил снег, ударили морозы, зерна им не дали. Кресты над могилами детей и женщин, выросшие вдоль этой просеки, отметили путь к свободе и сытости. Проведя зиму в землянках, колонисты по весне тронулись назад – жаловаться начальству, но их погнали обратно в тайгу.

– Что за жисть! – горевали они. – Из деревни нас выживают медведи да варнаки с ножами, а из городов начальство гонит. Куды ж нам теперича? Али помирать? Спать ложишься, так не знаешь, встанешь ли живым? Скотинку боязно на выпас выпускать – прирежут и сожрут нехристи окаянные...

Эти поселенцы всегда жаловались на оторванность от родины, на грабежи и убийства, но не могли скрыть восторга от земельной свободы, от изобилия в реках рыбы, а в лесах всякой живности. Но уже начиналась иная колонизация – насильственная! Там, где рельсы железных дорог России кончались, каторжных стогнали в неряшливые колонны и гнали пешком через всю Сибирь, пока не дотащат ноги до берегов Тихого океана. В конце трехлетнего пути ослабевших везли уже на телегах; в гуще озлобленных людей зачиналось новое потомство; тут же, под кустами, рожали детей, на привалах резались ножиками, воровали друг у друга последние куски хлеба. Допотопные баржи выплескивали на берег Сахалина голодную толпу оборванцев с ошметками обуви на ногах, которые ненавидели Сахалин с того самого момента, как они разглядели его в пасмурной синеве моря.

В 1875 году Сахалин был признан законным владением России. С этого времени Сахалин спешно застраивался новыми тюрьмами, а полицейская бюрократия уже не могла справиться с огромной массой оголтелых преступников. Свистели в руках палачей плети, виселицы работали, кладбища росли, леса горели, звери разбегались, за бутылку спирта убивали. Россия и народ русский боялись Сахалина, как чумы, и осужденные на каторгу Сахалина часто калечили себя – только бы избавиться от ссылки. В ту пору даже смертная казнь казалась более легким наказанием...

Каторжный труд был рассчитан на истребление людей. Чтобы избавиться от непосильных работ, арестанты в зимние ночи высовывали через форточки руки, желая их отморозить, хлестали себя по голым телам жесткими щетками, дабы имитировать подозрительные сыпи на коже, настаивали чай или водку на махорке, после чего тряслись, как парализованные, а потом умирали. Каторга готовила могилы заранее – сотнями сразу, чтобы потом не возиться с каждым покойником отдельно, некрашенные гробы тяжело плюхались в болотную воду. Наконец люди на Сахалине часто сходили с ума, и на острове пришлось завести дом для умалишенных.

Нет уж, скажу я вам: ни Каледония, ни Австралия, ни даже зловещая Кайенна не могли идти ни в какое сравнение с Сахалином, из которого в Петербурге мечтали создать «райский уголок». Правда, и среди каторжан находились честные труженики, образованные люди, а среди приезжих попадались романтики, вроде агронома Мицули, видевшего в Сахалине богатую почву для разведения колоссальных плодов, каких уже не могла породить истощенная почва Европы. Но все это были одиночки, они погибали в условиях каторги, умертвлявшей в людях все доброе, все живое...

– Да уже лучше виселица или погост, – говорили каторжане, – нежели я тут за пайку хлеба горбатиться стану!

В 1881 году, недалеко от рудников Дуэ, вырос и оформился административный центр острова – Александровск, который местные остряки прозвали «сахалинским Парижем». Тогда же из Владивостока протянули по дну океана телеграфный кабель до Александровска, и теперь военные губернаторы Сахалина обрели возможность лично требовать от великой матери-России того, в чем больше всего нуждалась Сахалинская каторга:

– Хлеба! Когда пришлете транспорт с мукой? Поймите же, что ссыльнопоселенцы, уже освобожденные из тюрем, теперь толпами возвращаются обратно в тюрьмы... Да, да, я не шучу! Жить в тюрьме им кажется слаще свободы, ибо в тюрьме, худо-бедно, но миску баланды все равно получит. А на Сахалине он продал все, что имел. Иные продают своих жен, а матери торгуют дочерьми... Да я же не выдумываю вам сказки про белого бычка! Или вы сами не знаете, что такое каторга?..

Смертность людей, идущих по этапу через Сибирь, была столь велика, что впредь решили отправлять партии каторжан морем. Отправка на языке каторжан называлась «сплавом». На каждый год приходилось два «сплава»: весенний – для преступников мужчин, осенний – для преступниц женщин. Доставка арестантов на Сахалин была поручена кораблям Добровольного флота с военными командами, которые принимали свой груз в Одессе... Наверное, тогда-то и возникла эта отчаянно-залихватская песня:

Прощай, моя Одесса,
веселый карантин.
Мы завтра уплываем
на остров Сахалин...

5. Мы завтра уплываем...

Одессу наполнял тонкий аромат апельсинов из Яффы, жареных каштанов, завезенных из Сицилии, в саду Форкатти оркестр беспечно наигрывал мотивы из опер Доницетти. Приезжие навещали французскую ресторацию на Екатерининской улице в доме Бродских, где за один рубль каждому подносили шесть блюд, чашку турецкого кофе и полбутылки вина.

С начала весны в недорогом номере гостиницы «Лондон» поселилась семья Челищевых, приехавшая из Петербурга, чтобы проводить молоденькую Клавдию Петровну на Сахалин. Мать, убитая горем, уже не снимала черного платья, словно несла глубокий траур, она комкала в руке черный кружевной платочек.

– Не знаю, не пойму, – часто повторяла она. – Как можно с юных лет безжалостно урождать свою жизнь?

– Мапочка, – ответила ей Клава, розовощекая и статная девушка, – ну стоит ли горевать? Нельзя же ведь жить только для себя. Сейчас, как никогда, Россия нуждается в том, чтобы мы, молодые, всюду сеяли «разумное, доброе, вечное».

– Так кто же мешал тебе сеять разумное и доброе в самой России? Зачем тебе взбрело в голову ехать на Сахалин?

– Ах, мамочка, как ты не понимаешь? Бестужевки в России и без меня хватит, но я решила прийти на помощь всем страждущим Сахалина, где живут самые несчастные люди...

Мать раскрыла ридикюль, машинально проверив – не затерялся ли билет на пароход «Ярославль», отплывающий завтра утром с партией арестантов. Впрочем, билет дочери был первого класса, а столоваться она будет в общей кают-компании.

В разговор вмешалась тетка, заметившая сурово:

– Несчастных полно и в самой России, так стоит ли отдавать свои самые лучшие годы бандитам, вора и всяким там прохвостам? Об этом ты, кажется, не подумала...

Молодой кузен в мундире технолога добавил:

– Я думаю, Клавочка, если бы ты не окончила Бестужевские курсы, где профессора на лекциях больше либеральничали, проливая слезу над бедным мужиком, тебе бы никогда не пришла в голову идиотская мысль о Сахалине... Порядочные люди не знают, как убежать оттуда, а ты едешь добровольно. Зачем?

К ним в номер заглянул молодой инженер-геолог Оболмасов, который за эти дни ожидания парохода сделался как бы своим человеком в семье Челищевых. Геолог тоже отплывал на Сахалин, но им управляла не бесплатная лирика сострадания к ближнему своему, Оболмасовым руководила, как он сам признавался, «осмысленная идея научно-экономического порядка».

– Сегодня очень хороший вечер, – сказал Оболмасов. – И не провести ли нам его совместно в саду Форкатти?

Мать поправила на его груди значок Горного института.

– Георгий Георгиевич... милый Жорж! – взмолилась она. – Я вижу в вас практичного и благородного человека. Ради всех святых, проследите за моей Клавочкой, помогите ей.

Оболмасов поцеловал руку матери, почти любовно он обозрел красоту и статью ее дочери.

– Анна Павловна, – отвечал он с выспренным пафосом, – положитесь на меня... Вы абсолютно верно выявили суть моей натуры, и я всегда останусь добрым рыцарем Клавдии Петровны, дабы оградить ее прелестную чистоту ото всего грязного и позорного, что будет окружать ее на Сахалине.

С утра раннего в порту Одессы полицейское оцепление сдерживало громадную толпу провожающих – жен, которые навсегда теряли мужей, матерей, которые уже никогда не увидят сыновей, невест, которым суждено выплакать глаза по своим женихам, отсылаемым на сахалинскую каторгу. Сколько тут было слез, истерик, выкриков, проклятий и заклинаний...

– Осади... осади назад! – покрикивали городовые.

«Ярославль» уже дымил у причала, иногда постанывая сиреной, словно желая поскорее оторваться от берегов. Наконец, портовые ворота распахнулись, в окружении конвоиров потянулась серая, галдящая, почти одноликая толпа арестантов. Слышалось надсадное бряканье кандалов, звон жестяных кружек у поясов, хохот и плач, матерная брань и нескромные прибаутки. Из толпы провожающих вырывались напутственные вопли:

- Сашенька, напиши сразу как приедешь!
- Никола, а ты сахарок не забыл ли?
- Поклон Юрке Жигалову, если его встретите.
- Сыночек, ждать буду... не помру без тебя...
- Осади! Осади назад!.. Я кому сказал?..

В этой громадной толпе, что растекалась сейчас по трапам и люкам, заполняя корабельные трюмы, были представители многих древнейших профессий: маравихеры – карманники, мокрушники – убийцы, блиноделы – фальшивомонетчики, торбохваты – базарные жулики, хомутники – душителы, костогрызы – неопытные воришки, чердачники – похитители белья, самородки – взломщики несгораемых сейфов, сонники – кравшие у спящих пьяниц, лапошники – взяточники, фармазоны – продавцы стекляшек под видом бриллиантов, паханы – скупщики краденого, субчики – альфонсы и сутенеры, скрипушники – воры на вокзалах, маргаритки – мужчины-проститутки и педерасты, марушники – карманники по церквам и на кладбищах, шопенфиллеры – грабители ювелирных магазинов, халтурщики – ворующие из квартир, где имелся покойник, огольцы – дачные ворюги, наконец, в этой толпе были «от сохи на время» – воистину несчастные люди, невинно осужденные. А надо всей этой нестройной шатией, над «шпаною» и «кувыркалами» (мелочью, недостойной внимания), гордо возвышались рецидивисты и в а н ы – повелители тюрем и каторг, слово которых – закон для всех и которые готовы «пришить» любого, кто не исполнит их каприза. Вокруг же иванов, подобно адъютантам вокруг генералов, сутились жалкие «поддувалы» – на все готовые за пайку хлеба, всегда продажные, живущие крохами со стола своих озверелых суверенов...

– Шевелись, сволота поганая! – понукали конвоиры.

Клавдия Челищева и Жорж Оболмасов стояли в стороне, среди немногих пассажиров «Ярославля», ждущих посадки после погрузки арестантов, и, когда толпа каторжан миновала их, оставляя после себя дурной запах, Оболмасов сказал девушке:

– Ах, Клавочка! У меня определенные цели на Сахалине, потому в этой грязной массе преступных натур я усматриваю для себя лишь рабов для осуществления своих великих целей...

К пассажирам подошел любезный жандарм:

– Дамы и господа, одну минутку терпения. Сейчас доставят еще одного «самородка», после чего начнется ваша посадка.

Подкатали коляска, в которой преступник был стиснут по бокам двумя охранниками. На голове «самородка» расползлась мягкая бескозырка, бубновый туз на спине халата был чуть ли не бархатный, а кандалы излучали нестерпимый блеск, начищенные, видать, от тюремной тоски – ради пущего арестантского шика.

Оболмасов авторитетно пояснил Клавочке:

– Кандалы-то у него какие! Сверкают – словно бриллианты от фирмы «Фаберже»... Сразу видно особо опасного преступника. Такой и родную мать придушит. Сама природа озаботилась, чтобы начертать на его лице следы жестокости и самых грязных пороков.

Это было сказано по-французски, и, к удивлению пассажиров, арестант живо обернулся. Кратким, но выразительным взглядом он сначала окинул Челищеву, затем приподнял над головой свою бескозырку, отвечая Оболмасову на отличном французском языке:

– Вы бездарный физиономист! Исходя из внешности Сократа, Цицерон считал его глупейшим женолюбом. Простите, мсье, но на вашем самодовольном лице я свободно прочитываю следы дегенерации. Впрочем, советую на досуге почитать научный трактат «О выражении ощущений», написанный вели...

Тут конвоиры дали ему тумака по шее:

– Топай, топай... еще тары-бары разводит!

Арестант спокойно направился к трапу «Ярославля».

– Странный человек, правда? – спросила Клавдия.

– Интеллектуальная тварь, – ответил ей Оболмасов.

Инженер-геолог был отчасти шокирован тем отпором, который получил от преступника. Этим арестантом был, конечно же, наш Полюнов, а конфликт между ними уже определился...

Черное море миновали спокойно, в Константинополе была краткая остановка, чтобы высадить русских мусульман, спешащих на поклонение в Мекку, после чего громадный транспорт Добровольного флота тронулся дальше, а жара усиливалась...

Офицеры транспорта, веселая и беззаботная молодежь, явно радовались присутствию в кают-компании юной образованной женщины, которая окончила Бестужевские курсы, а перед отъездом на Сахалин сдала еще и экзамен на фельдшерицу.

– Мы, – говорили ей мичманы, – высоко ценим «души прекрасные порывы». Поверьте, нам порою бывает до слез жаль эту публику, но... что поделаешь? Служба есть служба.

Слева по борту приветливо мелькнули огни богатого Бейрута, потом долго стелились безжизненные пейзажи Палестины и Синай, дышать в этом зное становилось все труднее. Офицеры советовали Челищевой одеваться полегче, сами же они, как англичане, ходили в коротких шортах, носили пробковые шлемы.

– Только бы проташиться Красным морем, а за Аденом станет чуть легче... Не спрашивайте, что творится сейчас в трюмах, если невозможно дышать даже под тентами на верхней палубе. Но вам, Клавочка, повезло! Мы покажем вам земной рай Коломбо и Сингапура, вы увидите то, что дано видеть не каждому...

По ночам с палубы слышался надсадный визг железа. Челищева долго не понимала, что это значит. Но однажды, поднявшись на палубу, она увидела мертвецов, с которых корабельные кузнецы молотами сбивали звонкие браслеты кандалов. Старший офицер корабля, кавторанг Терентьев, просил ее удалиться:

– Идите, голубушка, в каюту. Вас это не должно касаться. Сегодня лишь четыре человека, а вчера было еще больше...

В помещениях третьего класса, где резво бегали тараканы, ехали «добровольно следующие», как именовались они в казенных бумагах. Это были жены и дети каторжан, уже сидевших по тюрьмам Сахалина, и теперь родственники плыли на далекий «Соколинный остров», дабы облегчить их участь в семейном кругу. Закон гласил: арестант, который обзаведется на Сахалине семьей, механически освобождается от тюрьмы, переходя в разряд «вольнопоселенцев». Вот они и плыли – среди неряшливых узлов, среди жалких пожитков, собранных в дорогу. Одна из баб, укачивая на коленях младенца, горестно рассказывала:

– Говорила я сваму: не пей ты, не пей, не пей. А он – все за свое! Ну вот и пошел по убивству в драке-то деревенской. На праздник святого Николы Угодника – стакан за стаканом. Дома-то таперича все прахом пошло. Посуды мне жаль, уж такие горшки были ладные, вместях

на ярмонке покупали... Нонеча пишет вот мне: прости, Агафьюшка, что не слушал тебя, а коли не приедешь, так удавлюсь, и грех на тебя ляжет...

Молодуха в цветастом сарафане, явно деревенская щеголиха и сластена, задорно щелкала семечки, взятые ею в дорогу:

– А мой-то пишет, что корову начальство дало. Коль я приеду, так поросю суляться дать. Огурцов там этих, репы да селедков – ешь не хочуй! Теперь пишет, что уже полусапожки на московском ранте мне справил... прифасонюсь!

В кают-компании за обедом – иные разговоры. Сахалинский чиновник Слизов с некрасивой женой по имени Жоржетта возвращался из отпуска, рассказывая весьма откровенно:

– Будь он проклят, Сахалин этот, но... не оторваться! Уже засосало. Опять же, посудите сами, служи я в России, на двадцать восемь рублей жалованья ноги протянешь. А в Александровске – деньги бешеные, пенсия приличная. Положение в обществе. Дров сколько угодно. Попробуйте нанять прислугу в Москве – она с вас три шкуры сдерет, да еще обворует. А на Сахалине я бесплатно беру из конторы пять каторжан сразу: извозчика, садовника, водоноса, дровосека, кухарку и... даже портного для моей Жоржеточки. И все даром, заметьте! Это ли не жизнь?

Чиновники нанимались служить на Сахалине, где с каждым пятилетием службы им прибавлялось жалованье, улучшались удобства жизни. Развращающе действовал полуторный оклад и «амурская» надбавка к жалованью. Но Терентьев уже шепнул Клавочке:

– Не верьте вы этим трутням! Не в силах создать свою судьбу в нормальных условиях материка, как они могут на Сахалине исправить искаленные судьбы других людей? Губернатор Ляпишев сейчас их всех немного приструнил, а раньше такие же вот Жоржеточки кухарок и прачек насмерть засекали...

Оболмасов среди пассажиров держался несколько загадочно, словно его ожидала на Сахалине секретная миссия, но Терентьев все же вынудил его разговориться, спросив напрямик:

– А вас-то, юноша, что влечет в каторжные края?

Оболмасов, отвечая, заметно приосанился:

– Видите ли, господа, я решил вырвать монополию на нефть у фирмы Нобелей, дабы создать на Сахалине новый Баку! Сколько же еще нам, русским, ковыряться с дровишками и закупками кардифа у жмотов англичан? С появлением двигателя внутреннего сгорания человечество перейдет на жидкое топливо. И мы, геологи, – упоенно говорил Жорж, – сейчас являемся передовыми разведчиками будущего. Мы уже видим Россию, фонтанирующую нефтяными скважинами, и тогда... К чему скрывать? – скромно сказал Оболмасов. – Я далеко не бескорыстен, как некоторые идеалисты. Я желал бы ворочать на Дальнем Востоке миллионами, как и Нобели на Кавказе, чтобы мой сахалинский керосин распалил лампы в избах мужиков – от Амура до самой Вислы...

С победным выражением геолог глянул на Клавочку Челищеву, а молодые мичманы даже похлопали ему в ладоши:

– Bravo, bravissimo! Но комаров на Сахалине такая же толпа, как и публики перед театром, когда в нем поет Федя Шаляпин...

С мостика передали доклад вахтенного штурмана:

– Прямо по курсу открылись огни маяков Порт-Саида...

Клавочка рискнула спуститься в нижние палубы корабля – под отсеками третьего класса, и там ее сразу охватила противная липкая духота. Матросы с винтовками и сумками для патронов у поясов, стоя у зарешеченной двери, твердо сказали:

– Сюда, барышня, никак нельзя. Мы и сами туда не ходим. Прирежут! А кто сдох, того мы за ноги через люк вытаскиваем...

Все было продумано заранее, и в случае бунта каторжан трюмы наполнялись раскаленным паром из корабельных котлов, чтобы люди сварились заживо, как бобы в закрытой кастрюле.

Молодость чересчур любопытна. Клавдия Челищева впервые плыла на таком большом корабле, для нее был соблазнителен этот мир железных и гулких лабиринтов, уводящих в темноту люков, возносящих к небесам трапов, тайна загадочных коридоров. В носу «Ярославля» узенький коридорчик завел ее в тесный форпик, огороженный решеткой. Часовых здесь не было, очень ярко светила лампа, а за решеткой сидел человек... тот самый!

В первый момент девушка даже испугалась:

– Это вы, сударь? Почему вас держат отдельно?

– Очевидно, я опаснее других, – ответил Польшов. – Для таких хищников, как я, требуется особая изоляция...

Он приник лицом к прутьям решетки, и Клавочка вдруг обомлела от взгляда его глаз – золотистых, как мед, почти янтарных, а в глубине зрачков иногда вспыхивали отблески, словно человек давно сгорал изнутри и не мог догореть. Польшов спросил:

– Мадмуазель спешит во Владивосток к жениху?

– Нет, я плыву только на Сахалин.

– По какой же статье о наказаниях? – спросил он.

– По статье совести и гражданского долга.

– Но такой статьи в собрании имперских законов нет.

– Но она существует, даже неписаная, в душе каждого честного человека, если он желает быть полезен обществу.

Форпик размещался в самом носу корабля, и в нем было слышно, как форштевень сокрушает под собой волны.

– А вы не задумывались над вопросом, стоит ли наше общество того, чтобы ему служили? Вот, например, я, – высказался Польшов, – неужели вы способны услужить даже мне?

– Мне вас очень жаль, сударь, – искренно ответила Клавочка. – Если угодно, я согласна помочь вам. Но... чем?

– Я был бы чрезвычайно признателен вам, если бы вы узнали, нет ли в партии арестантов политических ссыльных.

– Я сама спрашивала об этом господ офицеров. И если вы страдаете за убеждения, вынуждена огорчить вас: на «Ярославле» плывут одни лишь уголовники, а политических нету.

Польшов кивнул. Челищева улыбнулась ему:

– Впрочем, могу вас порадовать... Случайно на этом корабле плывет один политический, о чем никто не догадывается.

Польшов нервно отпрянул прочь от решетки:

– Кто он? По какому процессу? Русский или поляк?

– Это я, – вдруг ответила Клавочка...

Рев сирены заглушил ее слова: «Ярославль» уже втягивался в обширные гавани Порт-Саида, чтобы взять угля и пресной воды, пополнить запасы искусственного льда для кают-компаний. Клавочка даже не пошла на берег, почти с ужасом ощутив, что она влюбилась в этого страшного человека, сидящего за решеткой форпика...

6. Приезжайте – останетесь довольны

С высокой колонны памятник Фердинанду Лессепсу как бы благословлял всех плывущих Суэцким каналом. Но для каторжан, которые уже не раз и не два – бежали с Сахалина, а теперь вдругорядь плыли этой же дорогой обратно, для них Лессепс означал новые страдания. Красное море встретило «Ярославль» сухими горячими ветрами, дующими из пустынь Аравии, мельчайший раскаленный песок забивал широкие сопла корабельных вентиляторов, дышать становилось труднее, с лиц матросов сползала кожа, а нежные губы женщин покрывались болезненными трещинами. Смертность среди арестантов в трюме сразу усилилась.

Старший офицер Терентьев, желчный и болезненный человек, удивлял Челищеву контрастами своей натуры: состояние мягкого добродушия иногда сменялось в нем порывами самой необузданной жестокости. Напрасно часовые в трюмах давали тревожные звонки на вахту мостиков, призывая забрать умерших, кавторанг не обращал на эти звонки внимания, объясняя так:

– Здесь район оживленного мореходства, а трупы могут всплыть, привлекая внимание иностранцев. Пусть уж валяются на своих нарах, пока не выберемся в океан... там и покидаем!

Оболмасов сказал Клавочке за столом:

– Представляю, какой аромат сейчас в трюмах...

По давней традиции судов Добровольного флота, в Красном море начинали расковку кандалных, потом до самого Цейлона каторжан брили заново. Рецидивистам обривали правую часть головы, а бродягам, не помнящим своего родства, – левую. Но в преступном мире всегда немало причин, чтобы из одной категории виноватых перейти в другую, и скоро все уголовники ходили с головами, выбритыми одинаково – как с правой, так и с левой стороны.

– Не понимаю, – возмущался Оболмасов за ужином, – неужели в трюмах не было обыска? Откуда у них взялись бритвы?

– Голь на выдумки хитра, – пояснил Терентьев. – Берется крышка от жестяного чайника. Один край ее оттачивается как лезвие. После этого – извольте бриться...

В открытом океане полуобморочных каторжан выводили из трюмов на верхние палубы, где матросы окатывали их забортной водой из пожарных «пипок». Так, наверное, на бойнях обмывают скотину, чтобы под разделочный нож мясника она поступала уже чистая. Каторжан стали выпускать из трюмов в отхожие места, расположенные наверху. Но охрана, вконец ошалевшая от жары, ленилась конвоировать людей поодиночке.

– Так чо я вам! – орал конвойные. – Или нанимался тута валандаться с вами? Дождись, когда другие захотят, тогда и просись. Меньше чем полсотни человек не поведу...

Тела каторжан покрывала тропическая сыпь, которая быстро переходила в злокачественный фурункулез. Все чаще шлепались за борт трупы, кое-как завернутые в куски парусины. При этом в машины давался сигнал «стоп», чтобы мертвеца не подтянуло в корму, где он сразу же будет раскромсан на куски работающими винтами... Вечером Клавочка Челищева поднялась на «крыло» мостика, чтобы полюбоваться звездами и величием Индийского океана. Терентьев сам подошел к ней и, облокотясь на поручни, долго помалкивал. Вода сонно шумела за бортом корабля.

– У вас есть на Сахалине друзья или родственники?

– Нет. Да и откуда им быть? – ответила Клавочка.

– На что же вы тогда рассчитываете, бедная вы моя? Нельзя же свой идеализм непорочной младости доводить до абсурда. Я шестой год «сплавляю» партии каторжан на Сахалин, и я лучше других знаю, каковы там условия... Вы же там погибнете, и даже винить некого, ибо каторга всегда остается каторгой!

Это пылкое признание пожилого человека даже смутило Клавдию Петровну, не сразу она нашлась, что ответить:

– Так не возвращаться же мне обратно.

– Теперь уже не вернуться... Сейчас, – продолжал Терентьев, – военным губернатором на Сахалине состоит Михаил Николаевич Ляпишев, генерал он добрый, насколько это возможно в сахалинских условиях. Он меня знает. Я напишу ему рекомендательное письмо, чтобы к вам отнеслись благожелательнее.

– Спасибо, – от души благодарила Клавочка.

– Но предупреждаю, что каторга смеется над слезами и клятвами. Если вы поверите кому-либо, вы погибнете тоже. Преступники, как никто, умеют вызывать в честных людях не только симпатию к себе, но даже сочувствие. В тюремном жаргоне бытует особое выражение – «дядя сарай», так называют всех людей, верящих тому, что им было сказано...

Мимо них пронесло в ночи ослепительный пароход, сверкающий от обилия электрических огней, до «Ярославля» донесло музыку корабельных баров и дансингов, где свободные люди флиртовали, развлекались выпивкой и танцами, даже не зная, что такое каторга. На миг девушке стало печально: этот пароход возвращался в Европу, и Терентьев с каким-то надрывом утешил Клавочку:

– Ладно! Зато мы скоро будем в раю Цейлона...

Пароход Добровольного флота еще плыл в Индийском океане, а в его трюмах, куда не достигали ароматы тропических фруктов, арестанты рьяно обсуждали, в какой тюрьме Сахалина надзиратель зверь, а какой продажен, сколько платить палачу, чтобы с одного удара не перебил тебе позвоночник, словно сухую палку.

Иван Кутерьма, человек бывалый, делился опытом жизни:

– На Оноре – великий мастер, плетью доску перешибет, а как треснет по табуретке, так она в куски разлетается. Зато сунь ему рубелек, он тебя так отгладит, так изнежит, будто живую водой ополоснешься и вскочишь с лавки еще здоровее...

Что им сейчас до райских красот Цейлона?

– Да, скоро и Цейлон, – сказал Польшов, когда Клавочка, движимая женским интересом, снова навестила его, одинокого узника в отдаленном коридоре носового форпика. – Советую вам сойти с корабля в Коломбо, и вы окажетесь в раю, где в древности блаженствовали Адам с Евой еще до их грехопадения...

Порою было трудно понять, когда Польшов говорит серьезно, а когда иронизирует. Но пришлось удивиться:

– Вы разве бывали и в Коломбо? – спросила она.

– Был. Но еще до своего грехопадения. – На этот раз Польшов сам высказал ей просьбу о помощи. – По вечерам из трюмов стали выводить на палубы всякую рвань и нечисть, чтобы она надышалась чистым воздухом. Я прошу вас найти случай передать Ивану Кутерьме, что я жду... Давно жду и очень жду...

– Чего вы ждете?

– Мандолину. Кутерьма поймет, что такое мандолина, а вам, милейшее создание, понимать такие вещи необязательно.

– Иван Кутерьма? А как мне узнать его?

– Гигант ростом. Верзила! На голове у него уродливый шрам от удара топором. Не узнать его просто невозможно.

– Хорошо. Я постараюсь, – обещала ему Клавочка...

Кутерьма выслушал девушку и проворчал в ответ:

– Ладно-кось, барышня. Завтрева же на эвтом месте...

На следующий день Иван подкинул к ее ногам маленький сверток, в котором было что-то тяжелое, и сделал это настолько ловко, что Клавочке даже не пришлось подходить к нему, а внимание конвоиров было отвлечено суматошной дракой, которую нарочно устроили в этот момент ивановские «поддувалы». Когда же девушка передала Польшову сверток, он сказал ей:

– Благодарю. До Гонконга осталось лишь восемь суток... Вы все-таки побывайте на берегу. Там есть отличный отель «Континенталь». Но снимите номер сразу на двоих.

– Кто же будет вторым? – оторопела Клавочка.

– Наверное... я! – рассмеялся Польшов, и было опять непонятно, то ли он говорит серьезно, то ли шутит...

В океане началась мертвая зыбь. «Ярославль», содрогаясь громадным корпусом, тяжело и плавно подминал под себя черную воду океана. Помимо каторжан, корабль имел торговые грузы, обязанный доставить их в порты назначения. От московской парфюмерной фирмы «Брокер» везлась большая партия духов и одеколонов для выгрузки в японском порту Нагасаки, а владивостокские магазины «Кунста и Альберса» давно ожидали прибытия закупленного ими в Лионе бархата.

– Вот и отлично, – рассуждал за ужином Оболмасов. – Значит, мы еще повидаем и танцы гейш Нагасаки... роскошная жизнь!

– Но вам, – язвительно заметила Клавочка, – кажется, больше всего понравилось пребывание в злочном Порт-Саиде...

Отношения между ними разладились именно с Порт-Саида, где Оболмасов торопливо скупал всякую непристойность. Теперь же его часто видели в отсеках третьего класса, там он любезничал с молодухами, плывущими на вызов своих мужей. Напрасно теперь геолог пытался оставаться перед Челищевой любезным кавалером, девушка решительно отвергла все его ухаживания:

– Тот опасный преступник на пристани в Одессе оказался хорошим физиономистом... И не старайтесь опекать меня, делая при этом вид, будто вы имеете на меня какие-то права!

– Не какие-то, а чисто моральные.

– Но я слишком далека от вашей морали...

Средь ночи Клавочку разбудила беготня матросов по трапам, а по металлу палуб цокали приклады винтовок караульной команды. Девушка накинула халат. В пассажирском салоне Оболмасов, стоя возле открытого буфета, наливал себе полный стакан виски. Он был бледен от испуга, виски проливалось мимо стакана.

– Что случилось, Жорж? – спросила его Челищева.

– Бунт... В котельных уже готовят подачу пара под высоким давлением, чтобы ошпарить всю эту сволочь в трюмах, как тараканов. Ужас! Ведь всех нас могли бы вырезать...

Он жадно выпил. Мимо них торопливо прошел заспанный мичман, пристегивая к широкому ремню кобуру с револьвером.

– Ничего страшного! – зевнул он. – Еще ни один рейс до Сахалина не обходился без фокусов... Идите спать. Сейчас все будет в порядке. Хорошо, что вовремя спохватились...

Где-то в глубине корабля грянул выстрел. Потом еще и еще. В салон ввели тюремного старосту, который сразу бросился на колени – стал молиться перед иконами:

– Слава те, хосподи! Нонеча самому батюшке-царю писать стану... может, и помилует? Страх-то какой, едва вырвался...

Оказывается, этот староста (тоже из каторжан) какой уже день выкидывал за решетку записки – для начальства: мол, готовится бунт. Но корабельные сквозняки тут же подхватывали мизерные бумажки, как негодный мусор, и часовые не обращали на них внимания. Наконец, один из них поднял записку старосты, но... не мог прочесть ее (по причине безграмотности).

– Нам усорили тут, паразиты, – сказал он.

Между тем в трюмах жить было уже невозможно. Никакая вентиляция не могла высосать из преисподней транспорта отвратные запахи пота и зловоние загнивающей пищи и блевотины укачавшихся людей, которые извергали свои нечистоты с третьего этажа нар на нижние, ноги арестантов скользили в этой мерзости, которая при качке переливалась с борта на борт. В этих кошмарных условиях иваны стали искать выход из трюма. Они обнаружили лазейку в узкий туннель, забраный решеткой, но прутья ее удалось раздвинуть. Иван Кутерьма одного из своих «поддувал» просунул башкою прямо в эту дырку:

– Вперед – за веру, царя и отечество! Ползи, покедова труба не кончится. Может, даст бог, и найдешь чего стоящего...

Иваны мечтали добыть оружие, чтобы, перебив охрану, завладеть кораблем и уплыть на нем куда-нибудь так далеко, где каторгой и не пахнет. Наконец из трубы туннеля выставилась голова верного «поддувалы». Он вернулся с разведки – пьян-распьян, но доставил в трюм два больших флакона.

– Там полно всего, – сообщил. – Теперь гуляем...

Иван Кутерьма ознакомился с этикеткой: «О-ДЕ-КО-ЛОН. НЕЗАМЕНИМЫЙ СПУТНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА. Освежает воздух в душном купе вагона, делая обстановку приятной. Бесподобен во всех отношениях как дезинфекционное средство. При покупке просим обращать внимание на фирменный № 4712. Остерегайтесь подделок!»

– Годится, – сказал Иван, опустошая флакон до дна. – Мы подделок не боимся...

Наконец одну из записок старосты случайно поднял машинист, человек грамотный, и доложил о ней старшему офицеру.

– Тревога! – объявил Терентьев. – Там уже все перепились. Но прежде любым способом выманите из трюма старосту...

Старосту вызвали из трюма якобы для наведения справок о заболевших. А на следующий день – как раз напротив цейлонского «рая» – устроили экзекуцию. Перепороть сразу 800 человек – на это сил никаких не хватит. Но уже сорок седьмой, не выдержав истязаний, выдал заговор, что подтвердили еще трое. Всех иванов заковали в кандалы и рассадили по разным клеткам корабельных карцеров. До Гонконга оставались сутки приличного хода, когда Терентьев сказал в кают-компании:

– А нам уже нет смысла навещать Нагасаки, ибо все духи и душистые притирания фирмы Брокера выпиты. Не знаю, что будет во Владивостоке, когда мы предъявим магазинам «Кунста и Альберса» куски лионского бархата, разрезанного на портянки...

Только он это сказал, как появился боцман:

– Ваше благородие, – козырнул он, – прямо как нечистая сила у нас завелась... Этот-то телегент, что отдельно в форпике сидел, куда-то исчез. Утром еще был, а чичас нету его...

Клавочка чуть не вскрикнула: это ведь о нем, о Польшове!

Боцман потряс перед офицерами связкою звенящих кандалов:

– Сам и расковался. Не на заклепках, а на штифтах были. Вот ведь сволочь какая... где ж у них стыд? Где ж у них совесть?

До Гонконга оставались считанные мили, а Польшова нигде не могли найти, и мичманы стали уже поговаривать, что он наверняка выбросился в море, чтобы плыть до берега. «Может, и так, – соглашались другие, – но каким образом он мог выбраться из своей секретной камеры форпика?» Чудовищные догадки приходили в голову Челищевой; она не хотела верить, что Иван Кутерьма передал ей отмычки для Польшова, которые и вернули ему свободу. Неужели она сделалась сообщницей преступников?.. На горизонте почти гравюрно проступили очертания берегов, а Польшов еще не был найден. Обшаривали все закоулки транспорта и при этом

спешили, ибо близость Гонконга давала беглецу больше шансов скрыться с корабля. Вот и рейд, где можно отдавать якорь...

– Нашли! – раздался торжествующий голос боцмана.

– Где нашли? – резво вскочил Терентьев.

– Да в маяке нашли...

«Маяком» назывался медный пустой столб в рост человека, внутри его полыхал бортовой огонь, предупреждающий встречные корабли о возможности столкновения. Офицеры и пассажиры разом высыпали на палубу. Полынова обыскали, но «мандолины» при нем, конечно, не обнаружили. Терентьев был в бешенстве:

– Ты думаешь отделаться карцером? Нет, голубчик, я тебя запихаю обратно в маяк и закрою на ключ, поставив часового с оружием. Вот и будешь светить прямо по курсу... Сразу зовите сюда кузнецов! Заковать его по рукам и ногам.

«Ярославль» снова вышел в океан, солнце стояло в зените, а медный колпак маяка раскалился до такой степени, что на нем, как на сковородке, можно было выпекать лепешки. Страшно думать, что внутри этого столба замурован живой человек. Судовой доктор долго терпел, потом не выдержал, сказав Терентьеву:

– Вы, конечно, вправе наказывать людей, но вы лишены права убивать их. Я, как врач, публично протестую против этой варварской пытки, которую вы устроили человеку.

Старший офицер «Ярославля» отвечал:

– Почему, вы думаете, я не ставил в форпике часового? Там был замок решетки с секретом. Сначала надо сделать два поворота на закрытие, а потом уже открывать... Так он, гадина, и тут сообразил! И я не выпущу его из маяка, пока не сознается, откуда у него – после многих обысков! – оказалась своя «мандолина»? Не мог же он ковырять секретный замок пальцем...

Ото всех этих разговоров, обращенных, казалось, непосредственно к ней, виновнице добывания отмычек, Клавочка не знала, куда ей деться, и наконец она бурно расплакалась.

Терентьев положил сигару на край пепельницы и сказал:

– Ну, если и Клавдия Петровна плачет... выпустим!

Когда открыли дверку металлического столба, на доски палубы безжизненным кулем вывалился Полынов.

– В лазарет его... быстро! – командовал доктор.

В лазарете преступник обрел сознание, наконец он разглядел и лицо Челищевой... Губы его сложились в гримасе улыбки.

– Теперь вам понятно, – сказал он, – почему я просил снять в роскошном «Континентале» Гонконга номер на двоих?

– Не смейте делать из меня свою сообщницу!

Ответ был почти оскорбителен для девушки:

– Но ведь вы... политическая, не так ли?

– Но еще не каторжница! – в гневе отвечала Челищева.

Когда миновали Цусиму и вошли в Японское море, уже на подходах к Владивостоку, всем узникам «Ярославля» бесплатно выдавали конверты и бумагу, чтобы отписались на родину. Грамотеи писали домой сами, а потом собирали пяточки с неграмотных, просивших сочинить за них «пожалобней, чтобы до слез проняло». Рецидивисты хорошо знали сахалинские порядки: там не станут томить человека в тюрьме, если к нему приезжали жена и дети. Всю семью в тюрьму не посадишь, чтобы кормить ее от казны, а потому считалось, что арестанта лучше из тюрьмы выпустить – и пусть живет где хочет; отсюда и возникло типично сахалинское выражение – «квартирный каторжанин» (то есть живущий на вольных хлебах). Теперь в трюмах корабля опытные ворюги со знанием дела поучали пловших на Сахалин «от сохи на время»:

– Пиши жене, что корову уже получил, скоро верблюда дадут с павлином. Поросят и арбузов тут сколь хошь. А коли, мол, не приедешь, дура старая, так мне от начальства уже молоденькую обещали. У ней губки бантиком, попка с крантиком, а сама фик-фок – на один бок! Так и пиши, «дядя сарай»...

И – писали. Даже те, которые по церковным праздникам в деревнях увечили своих жен смертным боем, теперь обращались к своим супругам чересчур уважительно: «Драгоценные наши Авдотьи свет Ивановны! Как можно поскорее приезжайте ко мне отбывать веселую каторгу – останетесь премного довольны...»

7. Власти предержавшие

Татарский пролив опасен частыми штормами. Якоря плохо держали корабли за каменистый грунт, и, чтобы не разбиться о скалы близ Александровска, суда подолгу дрейфовали в открытом море, они спешили укрыться в бухте Де-Кастри, искали убежища в Императорской (ныне Советской) гавани.

Многие селения Сахалина связывались с миром только зимою, а летом меж ними пролегли звериные тропы; через таежные реки природа сама навалила подгнившие деревья, словно перекинув мостики для пешеходов. На вершинах сопок, окружавших Александровск, и в глубине таежных падей до начала июля не таял снег, а в октябре выпадал уже новый. Июнь бывал отмечен инеем на траве, Сахалин рано испытывал заморозки. С маяка «Жонкьер», что светил кораблям от самых окраин города, тоскливо подвывала сирена да погребально названивал штормовой колокол. Александровск, эта убогая столица каторги, насчитывал тогда четыре тысячи жителей, и, как парижане гордились Эйфелевой башней, так и сахалинцы хвастались зданием тюремного управления:

– Гляди! Два этажа. Глянешь – и закачаешься...

Все постройки в городе сплошь из дерева, а по бокам улиц – мостики из досок, скрипучие. Дома обывателей в два-три окошка, возле них чахлые палисадники. Зелени и деревьев мало (все уже повырубили). Зато столицу украшали две церкви, мечеть, костел и синагога. Был приют для детей, брошенных родителями, и богадельня для ветеранов каторги, которые по дряхлости лет воровать и грабить уже неспособны. Была еще больница на 200 кроватей, а в селе Михайловке – дом для умалишенных. Вдоль речушки Александровки от самого базара тянулась Рельсовая улица, пока она не терялась в лесу, и на Рельсовой по вечерам одному лучше не показываться. С чего здесь живут люди – сам бес не знает, но они живут, и по вечерам, под тонкие комариные стоны, окна домишек оглашали азартные всплески голосов:

– Пять рублей мазу! Задавись ими, глот.

– Бардадым... я уже пас, катись налево.

– Держу шелихвостку... на ять дамочка!

Каторга умудрялась играть везде. Даже в удушливых штрехах угольных копей Дуэ. Ради карт отдавали последнюю пайку хлеба. Азарт доводил до полного растления личности, до самоубийств. Когда играть было уже не на что, тогда ставили в банк свою поганую жизнь. Продували в штос жен и детей своих. Все шесть тюрем Сахалина обслуживали только мужчин. А женскую тюрьму пришлось закрыть после того, как все сидящие в ней арестантки оказались в интересном положении. После карт и женщин на Сахалине выше всего ценилась водка! Бутылка паршивого спирта, добытая в казенном «фонде» за 25 копеек, после всяческих спекуляций и авантур, уже наполовину разбавленная водой, доходила в цене до десяти рублей. Зато вот личную свободу каторга ни в грош не ставила. Люди на каторге так и говорили:

– Свобода дома на печи лежать осталась, а здесь я всегда хуже пса безродного! И перед каждым фрайером, что в фуражке чиновника, обязан за двадцать еще шагов шапку ломать да с тротуара в грязюку полезать, кланяясь ему... Какая ж тут свобода, ежели на Сахалине этой штуковины даже скотина не ведала!

Это верно. Сами всю жизнь скованные, сахалинцы не давали свободы и своим животным. Какая бы добрая собака ни была – все равно сажали на цепь; куриц привязывали за ноги к заборам, а на шеи свиньям набивали тяжкие колодки. Самые последние корабли покидали Сахалин глубокой осенью, и не раз у трапов стояли плачущие люди, умоляя отвезти их в Россию. Это были каторжане, уже отбывшие срок наказания, уже свободные люди, никак не сумевшие скопить денег на обратный билет. Им говорили:

– Да пойми, как же я тебя без билета возьму?

– Мил человек, возьми меня. Где ж я тебе денег на билет наскребу? Нетто грабить да убивать кого? Посуди сам.

– Все понимаю. Сочувствую. Но без билета нельзя.

– Эх, мать вашу так! Выходит, тут и век пропадать, не сповидаю родимых детушек, не поклонюсь родным могилкам.

– Ну, валяй отсюда... много вас таких!

От самой тюрьмы Александровска, прижимаясь к ней, как дитя к нежной кормилице, далеко тянется Николаевская улица, на которой селилась «аристократия» каторжного управления. Здесь, в ряду казенных учреждений, дома чиновников, местный клуб с буфетом и танцзалом, квартиры семейных офицеров гарнизона. Между ними не возвышался, а лишь выделялся застекленной террасой дом военного губернатора всего Сахалина.

Михаил Николаевич Ляпишев, генерал-лейтенант юстиции, до Сахалина уже немало вкусил от судейской практики: он был военным прокурором в Казанском, затем в Московском военном округе. Сегодня он проснулся в дурнейшем настроении. Весна – время побегов; недавно каторжане разоружили конвой, отняв десять винтовок, а потом дали настоящий бой целому отряду.

– Совсем уже обнаглели, – проворчал губернатор.

Накинув мундир, но не застегнув его, Ляпишев сначала проследовал на кухню, где возле плиты уже хлопотал его личный повар из каторжан, знаток утонченной гастрономии – барон Шеппинг, имевший восемь лет каторжных работ за растление малолетних.

– Что за обед? – осведомился у него генерал.

Возле плиты с грохотом свалил охапку дров губернаторский дворник Евсей Жабин (10 лет каторги за святотатство).

– Тише, – поморщился Ляпишев, – люди еще спят...

К нему подошла чистенькая горничная Фенечка Икатова, его давняя пассия (12 лет каторги за отравление мышьяком барыни, которая вздумала ревновать ее к своему мужу).

– Михаил Николаевич, кофе или какава? – спросила она.

– Чай, – кратко отвечал Ляпишев...

Минуя канцелярию, где сидел писарь из князей Максutowых (15 лет за расхищение казенных денег), губернатор продвинулся в кабинет, там и застегнул мундир на все пуговицы. Потом он пригладил ладонью прохладную обширную лысину и, расправив бороду надвое, уселся за стол. Фенечка Икатова принесла ему не только чай, но и самые свежие сахалинские сплетни:

– Вчерась из Корсаковска японский консул заявился. Сказывали, что япошки, живущие в нашем городе, собираются фотографию открывать, всех на карточки сымать будут.

– Ерунда какая! – ответил Ляпишев. – Можно подумать, у нас все уже есть, только фотографы не хватает.

– Ночью, – продолжала оповещать его Фенечка, – на Рельсовой одного сквалыгу пришили, сколько взяли – неизвестно, а на базаре мертвяка нашли. Прокурор Кушелев уже выехал...

Недавно Ляпишев спровадил на материк Софью Блюфштейн, известную под именем Сонька Золотая Ручка, которой приписывали на Сахалине генеральное руководство грабежами и убийствами, но и без этой аферистки число преступлений не убавилось. Тут явился заместитель Ляпишева по гражданской части статский советник Бунге, принесся скорбную весть: бежали 319 каторжан, а поймано лишь 88 человек... Бунге сказал:

– Я не знаю, как быть. Давайте в отчете на материк напишем, что бежало двести, а сотню уже переловили. Все равно ведь в нашей бухгалтерии сам дьявол не разберется.

– Да нет, – сказал Ляпишев. – Надо быть честным. От этих приписок и недописок не знаешь, где право, а где лево.

Бунге протянул ему газету «Амурский край». На первой же странице жирным шрифтом был выделен подзаголовок статьи: «САХАЛИН РАЗБЕГАЕТСЯ». Губернатор пришел в отчаяние:

– Не могу! Голова раскалывается. Вот уеду в отпуск и ей-ей уже не вернусь на Сахалин, чтоб он треснул.

– Раньше было проще, – посочувствовал ему заместитель. – Бежал. Поймали. Повесили. А теперь пошли всякие гуманные веяния. Развели сопливый либерализм... уж и повесить человека нельзя! Сразу поднимается вой: палачи, кровопийцы, сатрапы! А их бы вот сюда, на наше место... Кстати, Кабаяси в городе.

– Уже извещен. Что консулу надобно?

– А разве японцы скажут честно? Телеграф всю ночь работал, – доложил Бунге. – «Ярославль» уже на подходах к Владивостоку, Слизов со своей Жоржеткой возвращается из отпуска...

Вечером Ляпишев без всякой охоты принял японского консула. Кабаяси просил у него разрешения на открытие в селениях Сахалина магазинов с товарами фирмы «Сигиура».

– Господин консул, – устало отвечал Ляпишев, – вы часто просите у меня согласия на открытие магазинов. Я каждый раз даю вам разрешение. Но магазинов «Сигиура» до сих пор нет. А вы опять приходите ко мне с вопросом о разрешении магазинов.

Кабаяси с улыбкой выслушал губернатора:

– Мы, японцы, хотели бы выяснить насущные вопросы сахалинского рынка. Если мы хорошо изучили, что нравится женщинам Парижа или что любят китайцы в Кантоне, то мы никак не можем уловить потребности жителей вашего Сахалина.

– Конечно, – отвечал Ляпишев, – здесь неуместна распродажа вееров, как не нужны и кимоно для каторжанок. Но мы не откажемся от ваших фруктов, от вашего превосходного риса. А зачем вам понадобилась фотография в Александровске?

Кабаяси восхвалил красоту сахалинских пейзажей. По его словам, если издать альбом с видами Сахалина и местных типов, его мигом раскупят японцы, а выручку от продажи альбомов консул согласен поделить с губернским управлением Сахалина.

– Не надо нам выручки, – сказал Ляпишев, поднимаясь из-за стола. – Я не ручаюсь за красоту сахалинских пейзажей, но сахалинские типы... Лучше бы мои глаза их никогда не видели!

Он покинул кабинет, но задержался в канцелярии, где князь Максutow доложил, что принята телеграмма из Николаевска:

– На Амуре уже поймали четырнадцать беглецов... Может, вам будет угодно задержать отправку отчета в Приамурское генерал-губернаторство? Подождем, пока не выловят побольше.

– Я такого же мнения, – согласился Ляпишев. – Будем надеяться, что выловят еще многих.

Ляпишев прошел в свои комнаты и, сняв мундир, вызвал Фенечку:

– «Ярославль» уже на подходе... Куда мы расписываем еще восемьсот негодяев – ума не приложу! О господи, как мне все это осточертело, и не знаю, когда это все кончится...

Политическая каторга на Каре просуществовала до 1890 года. Незадолго до ее ликвидации возникла для «политиков» каторга на Сахалине, длившаяся 18 лет (1886–1903). За этот немалый срок через Сахалин прошел 41 человек, из них умерли пятеро, а трое покончили самоубийством, не выдержав издевательств местных сатрапов. Приравненные к разряду уголовников, революционеры недолго сидели в тюрьмах, ибо Сахалин всегда нуждался в честных

и грамотных людях. Именно трудами «политиков» были заведены на каторге детские школы, метеостанция давала на материк точные сводки погоды, наконец, среди них оказались ученые, они много печатались в научных изданиях, их труды по этнографии Сахалина переводились на европейские языки. Ляпишев, не в пример другим губернаторам, говорил политическим «вы», он не боялся, в нарушение всяких инструкций, выплачивать «политикам» жалование, не гнушался подать им руку, чего никогда не делали его чинодралы... Михаил Николаевич признавал:

– Если мне нужен начальник склада, я доверю его не своему чиновнику, а именно «политику», ибо он не разворует добро, а сохранит... Вообще, господа, если что и останется на Сахалине хорошего в памяти потомства, так это будет связано с именами непременно политических преступников!

Утром губернатор телефонировал за 600 верст в город Корсаковск – самый южный город Сахалина, где и климат благодатнее, где и жизнь привольнее. Он предупредил барона Зальца, тамошнего начальника, чтобы снимал с «Ярославля» всех каторжан, у которых сроки наказания не выше четырех лет:

– А всех с большими сроками пусть доставят на север – к нам, где условия надзора построже да и жизнь намного поганее, нежели у вас, почти курортников... Всего доброго!

Прибытие любого корабля из Европы, пусть даже плавучей тюрьмы, для чиновников Сахалина всегда событие «табельное», дамы заранее шили новые туалеты, а их мужья не скрывали желания навестить корабельный буфет. Был пасмурный денек, сеял мелкий дождик, когда телеграфисты сообщили, что «Ярославль» миновал траверз Императорской гавани и, если не помешают льды, выпирающие из Амурского лимана, то завтра его можно ожидать на рейде Александровска. С утра пораньше к побережью выступила конвойная команда, из города потянулись вереницы колясок с администрацией. «Ярославль» уже дымил на рейде напротив маяка «Жонкьер»; баржи с каторжными командами (из числа матросов военного флота) торопливо переваливали из трюмов корабля на берег отощавшую и крикливую массу арестантов, которых тут же запирали в карантинный барак. Сразу начинался медицинский осмотр всех прибывших, их регистрация. При этом диалоги были столь же выразительны, как и сами действия властей предрежащих:

– Ну, называйся... по какой статье прибыл?

– Перегудов Иван... по бродяжничеству.

Тут же кулаком прибывшего по морде – бац:

– Ах ты, шкура дырявая! Ведь ты в позапрошлом году уже бывал здесь под именем Филонова... бежал? Теперь заново перекрестили тебя? Эй, в кандалы его!

Давай следующего...

У стола комиссии парень из крестьян – его тоже в ухо.

– За что лупите, ваше благородие?

– А что же нам? Или орден тебе повесить?..

Вот стоит с мешком печальный русский интеллигент:

– Небось политика? Какой партии?

– Простите, я только вегетарианец.

– Знаем вас, паскудов. Начитались Левки Толстого, а теперь противу царя поперлись...

А ну! Огурченко, дай-ка ему...

За Огурченко дело не стало: приказ есть приказ.

– Здоров! – кричат врачи, и печальный интеллигент, подкинув мешок на спине, отходит в сторону «годных».

– А тебя-то за что? – спрашивают его уголовники.

– Если бы знать, – следует невеселый ответ. – Наверное, виноват, что всегда отвергал мясную пищу...

Ляпишев в сером генеральском пальто стоял на пристани подле Бунге, когда к нему подошел молодой человек:

– Я желал бы представиться... Георгий Георгиевич Оболмасов! С отличием выпущен из Горного института, а теперь, как патриотически настроенный индивидуум, желал бы возложить свои благородные стремления на драгоценный алтарь отечества.

– Простите, – сразу перебил его сладкоречие Ляпишев, – если вам так уж понадобился алтарь отечества, то вы напрасно ищите его на каторге Сахалина. Какова цель вашего приезда, сударь?.. Ах, опять нефть! – сказал губернатор, выслушав геолога. – До сахалинской нефти уже немало охотников. Лейтенант флота Зотов давно сделал заявки, но успел разориться. А теперь на Сахалин едут всякие иностранцы, даже издали ощутившие аромат сахалинского керосина и асфальта... Так что, извините, господин Оболмасов, но я вам – не помощник!

Геолог отошел, а Бунге спросил Ляпишева:

– Почему вы так строги к этому молодому энтузиасту?

– Я не слишком-то доверяю людям, которые публично распинаются в своем патриотизме. В подобных излияниях всегда улавливается некая фальшь. Недаром же на Востоке издревле существует поговорка: имеющий мускус в кармане не кричит об этом на улицах, ибо запах мускуса сам выдает себя...

Тут губернатор заметил Челищеву; девушка была в коротком меховом жакете, ее голову укрывала шапочка-гарibaldiйка, какие были модны среди курсисток. Он предложил ей свои услуги:

– Из Корсаковска я уже извещен, что вы можете быть учительницей и даже фельдшершей. Поверьте, что я рад помочь вам, ибо Сахалин нуждается в образовании. Учителей у нас – кот наплакал, а на сорок тысяч населения всего пять врачей. Мадмуазель, прошу в мою коляску! Будете лично моей гостьей...

Когда вновь прибывших арестантов вывели из карантинного барака и построили в колонну, двух каторжан недосчитались. Они остались в бараке – уже задушенные. Это были те самые горемыки, которые не выдержали порки на «Ярославле» и выдали иванов, таскавших в трюмы духи с одеколоном фирмы Брокара, стеливших на свои грязные нары лионский голубой бархат...

Михаил Николаевич натянул лайковые перчатки.

– Вот видите, – сказал он Челищевой, садясь в коляску подле девушки, – Сахалин имеет особый колорит! Этот каторжный колер невольно отложился даже на мне, на генерале юстиции. Я уже мало чему удивляюсь...

Ляпишев обладал большими правами. Он мог дать 100 ударов розгами (или 20 плетей), тогда как окружные начальники имели право лишь на 50 ударов розгой (или 10 плетей).

8. На нарах и под нарами

«Ярославль» еще бункеровался углем во Владивостоке, а каторжане в его трюмах уже имели точные сведения о делах на Сахалине. Им было известно, что Ляпишев, по мнению высокого начальства, «каторгу распустил», что режим ослаблен, побегі внутри острова (не на материк!) наказываются губернатором слабо. Иваны уже на корабле знали, в какой из тюрем Сахалина сидеть легче, как обстоят дела с водкой и картами, кого из надзирателей бояться, а на кого из них можно поплевать... Напрасно в Главном тюремном управлении Петербурга ломали головы над тем, откуда поступает точная информация! Дело объяснялось просто. На телеграфных станциях Сахалина и Дальнего Востока работали сыновья бывших каторжан, от самой колыбели они усвоили для себя законы каторги. Отпрыски тюремных заветов, они-то и сообщали сведения по цепочке телеграфных станций, а конспирация у них была строгая, как в подполье масонских организаций.

...Начальство на казенных пролетках уже разъехалось по своим квартирам, а колонна вновь прибывших каторжан еще долго втягивалась в распахнутые ворота острога, минуя арку, поверх которой было начертано: «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КАТОРЖНАЯ ТЮРЬМА РАЗРЯДА ИСПЫТУЕМЫХ». Вдоль длинных коридоров тюрьмы – обширные камеры с нарами в несколько этажей; двери камер облицованы железом и при ударе гудят, как броня. Возле печки – параша ведра на три, которую называют с некоторым уважением – «Прасковья Федоровна». На окнах камер – решетки. Все стены разрисованы похабщиной, а по этим кощунственным рисункам бесстрашно бегали легионы клопов. По диагонали камер протянулись веревки, чтобы сушить на них барахло. На узенькой полке выстроились кружки, котелки для еды и чайники. Воняло по всей тюрьме застарелой баландой из рыбы с добавкой черемши. У всех надзирателей были синие галуны, а синие шнуры тянулись от их подбородков к револьверам. Они покрикивали:

– Впихивайся плотнее, местов более нету... давай, давай не стыдись! Чичас будет всем заковка в новые «браслеты», потом вас губернатор позовет к себе чай пить... Гы-гы-гы!

– Хе-хе-хе... хи-хи-хи, – заливались в ответ подхалимы.

Сразу от порога тюрьмы начинался штурм жилищных высот, ибо от положения на нарах каторга судит о достоинствах человека. Иваны занимали самые лучшие места, вокруг них располагались их «поддувалы», ударами кулаков и ног утверждавшие священные права своих сюзеренов от покушений всяких там «кувыркал». После иванов чинно освоили нары «храпы» – еще не иваны, но подражающие иванам, силой берущие у слабого все, что им нужно. За храпами развалились на нарах «глоты» – хамы и горлодеры, поддерживающие свой авторитет наглостью, но в случае опасности валяющие вину на других. Когда высшие чины преступной элиты удовлетворялись своим положением на лучших нарах, подалее от «Прасковьи Федоровны», тогда – с драками, с божбой и матерщиной – все оставшиеся места плотно, как сельди в бочке, заполняли «кувыркалы», высокими рангами не обладавшие. Наконец, для самых робких, для всех несчастных и слабых каторга с издевательским великодушием отводила места под нарами:

– Ползай! – хохотали с высоты нар. – Ишь гордые какие, еще сумлеваются... Ползи на карачках, хорь бесхвостый!

Жалкие парии, отверженные и забытые, лезли под нары – в слякоть грязи, в нечистоты прошлого, в крысину падаль. А ведь тоже бывали людьми! Их нежно растили матери, показывали врачам, причесывали гребешком их кудри, они бегали в школы, влюблялись, трепетали от первого поцелуя, а теперь... Теперь из-под нар выглянет лицо бывшего человека, испуганно оглядит всех и снова скроется в мраке отбросов каторги.

Человек – это иногда звучит горько!

Вечерело над Александровском, который разжег на улицах керосиновые фонари. На крыльце столичного клуба губернатору Ляпишеву снова встретился Оболмасов, очевидно его поджидавший:

– Михаил Николаевич, ваше превосходительство... еще раз взываю к вам, дабы напомнить о своих лучших намерениях...

– Не стоит, – придержал его Ляпишев. – Я вам уже говорил, что заявки на нефтяные участки давно сделаны, но дальше заявок дело не сдвинулось. Людей для новых разведок нефти я вам не дам, ибо каторга – не частная лавочка. Оплатить же казне работу ездовых, носильщиков, лесорубов и землекопов вы из своего кармана не в состоянии. Так о чем разговор?..

Внутри клуба было тепло и уютно, над столами свисали фарфоровые абажуры типа «матадор» и грушевидные электрозвонки для вызова каторжных лакеев, которых ради услужения господам одевали в белые фартуки. Из глубин комнат доносилось шелканье бильярдных шаров, в клубном буфете слышались нетрезвые голоса чиновников. Здесь же были и местные дамы, которые, изнывая от лютейшей тоски, завистливо сравнивали свои туалеты, и, чем уродливее сидело платье на подруге, тем больше они им восхищались, зато жесточайшей критике подвергался любой удачный наряд, украшающий женщину:

– Ах, душечка! Где вас так изувечили? Да скажите мужу, чтобы он этого вашего закройщика разложил поперек лавки и всыпал ему плетей сорок, как в старые добрые времена...

Михаил Николаевич Ляпишев сам ввел в женский круг Клавдию Челищеву, рекомендуя бестужевку с самой лучшей стороны:

– Клавдия Петровна вынуждена остановиться в моем доме, ибо молодой девушке, и сами о том ведаете, не так-то легко с приличной квартирой в нашем сахалинском бедламе.

Он удалился к карточному столу, а Челищева была сразу же подвергнута детальному анализу со стороны сплетниц. При этом госпожа Маслова, жена полицмейстера, предупредила ее:

– Голубушка, вы поступили крайне опрометчиво, воспользовавшись любезностью Михаила Николаевича. Никто не спорит, что он замечательный человек, благородный и умный, но... В его доме не он хозяин, а всем заправляет каторжная стерва Фенечка Икатова, и вы будьте с нею осторожнее. Такая мерзавка не только обворует, но и во сне придушить может...

Клавочка, недолго побеседовав с дамами, убедилась, что их интересы ограничены каторгой: чиновницы со знанием дела обсуждали «лестницу наказаний», обругивали либерализм, восхваляя правила минувших годов, когда «все было проще»:

– Выдерут – и порядок! Куда смотрит Михаил Николаевич? При нем даже спать страшно: в окно влезут и зарежут.

– Вешать надо! Раньше вот вешали, и было спокойнее...

От вопросов каторги дамы незаметно перешли к предстоящему открытию магазинов японской торговой фирмы «Сигиура»:

– Кабаяси недаром же прикатил в Александровск и не станет водить нас за нос... Скоро здесь можно будет купить японские шелка, восковые цветы на шляпы, которые даже ароматизируют...

Клавочка заглянула в читальню, где газеты, прибывшие с «Ярославлем», просматривал поджарый, остроглазый штабс-капитан местного гарнизона. При появлении девушки он встал:

– Быков, Валерий Павлович... Слышал, что на Сахалин вас привело благородство ума и сердца. Так позвольте мне, старожилу, предостеречь вас от ошибок на будущее.

– Пожалуйста. Я вас слушаю.

– Если желаете выжить в наших условиях, воздержитесь отзываться о каторжанах положительно. Здешняя администрация живет с чужих страданий, кормится от чужого горя. Но все они ненавидят кормушку, из которой сами же насыщаются. Бойтесь проявить сочувствие к людям. Напротив, осуждая гуманизм, вы прольете сладостный елей на чиновно-тюремные души, и тогда они станут вашими союзниками. Иначе... иначе вас заключут!

– Неужели здесь все так ужасно?

– Вы, наивное дитя, еще не знаете жизни, – продолжал Быков. – Вам, как и большинству русских бестужевков, приятно идеализировать жизнь, вы стараетесь видеть в человеке только хорошее. Должен вас огорчить. Не ищите романтики там, где ее быть не может. Каторга не признает благородства. Да и где тут быть благородству, если человека сознательно превращают в скотину?

– Но разве можно так жить? – воскликнула Клавочка.

– Можно, – ответил ей штабс-капитан. – И какая бы жизнь ни окружала меня, я сохраню честь своего мундира, как и вам я желаю оберечь от грязи свои прекрасные идеалы.

– Вы, я вижу, тоже идеалист?

– Извините, но я... карьерист! – честно признался Быков. – Я даже не стыжусь в этом признаться, ибо голубой мечтой моей жизни остается Академия Генерального штаба.

– Вот как? Так поступайте в эту академию.

– К сожалению, жизнь в гарнизоне сгубила меня своей рутинной, и вряд ли в условиях Сахалина я могу снова засесть за учебники, а без знания языков офицеру карьеры не сделать...

К этому времени, пока они там разговаривали, впавший в уныние Жорж Оболмасов одолел уже третью рюмку в буфете, еще трезво соображая, что тюремщики Сахалина, окружавшие его, даже не пьют водку – они ее попросту пожирают. Статский советник Слизов, с трудом удерживая на конце вилки розовый кусочек кеты на закуску, убеждал Оболмасова не горячиться:

– Ляпишев тоже не вечен! Уберут... за либерализм как миленького. Я уже пятерых губернаторов переслужил, и все – как с гуся вода. Придет другой, сделаете заявки, дадите нам керосину, и мы это дело как следует отметим... Ну, поехали!

Напротив Оболмасова вдруг оказался японец в европейском костюме, четким движением он выложил перед инженером визитную карточку, отпечатанную на трех языках – русском, японском и английском.

На столе сразу появилось шампанское.

– Такаси Кумэда! Я представляю торговую фирму «Сигиура»... У вас какие-то досадные неприятности с губернатором? Консул Кабаяси просил меня заверить вас, что наша японская колония всегда будет рада помочь вам. Если это не затруднит вас, то завтра навестите нашего консула в моем доме.

Оболмасова больше всего удивило, как чисто, как грамотно владел Кумэда русским языком, как великолепно сидел на нем полуфрак, как броско посверкивал алмаз в его перстне, какая обворожительная улыбка освещала его широкое доброжелательное лицо. С надеждой геолог принял его визитную карточку:

– Я с удовольствием навещу вашего консула...

Гостиниц в Александровске никогда не было, всяк устраивался где мог. Оболмасов временно ютился в доме Слизовых, куда его зазвала Жоржетта Иудична, не раз уже намекавшая:

– Обожаю читать Мопассана... такие страсти, такой накал! А вам не кажется, милый Жоржик, что в сочетании наших имен уже затаилась некая магическая связь? Я же по вашим глазам вижу, что вы, как и я, обожаете классическую литературу...

Иван Кутерьма имел на своей совести 48 убийств с грабежами, за что и получил «бес-срочную» каторгу. Только такие вот бандюги, как он, имели право украшать ворот холщовой рубахи красными петушками, гордась вышитым воротником, как генералы гордятся своими позлащенными эполетами. Теперь с высоты нар Иван Кутерьма лениво и дремотно надзирал за камерой, смиревшей под его взором, как воробьи, которые заметили полет ястреба на той высоте, какая воробьям никогда недоступна.

Ближе к ночи, когда в камере уже собирались спать, лязгнули затворы железной двери и надзиратель объявил:

– Потеснись, хвостобои! Тут еще один самородок...

Это был Польшов, уже в кандалах, он держал под локтем котомку. Вся камера притихла в ожидании – что он скажет, что сделает, где сыщет для себя место: на нарах или под нарами? Польшов ничего не сказал. Он молча вдруг подошел к Ивану Кутерьме и швырнул к нему свою арестантскую котомку:

– Ну ты! Сучье вымя... давай подвинься.

Камера затаила дух. Но Иван Кутерьма, не прекословя, подвинулся, уступая место подле себя, и социальное положение Польшова на каторге сразу определилось. Польшов оглядел притихшую камеру своими лучезарными глазами и сказал всем:

– Высокопочтенные джентльмены удачи! Сволочи, мерзавцы, ворюги, бандиты, гадины и подонки! Если кто из вас бывал в благословенной Швейцарии, тот, наверное, обратил просвещенное внимание на то, что над тюрьмами этой обожравшейся страны частенько реют большие белые флаги – в знак того, что в тюрьме нет ни одного заключенного. У нас же, в несчастной России, пора вывешивать над тюрьмами черные знамена – как символ того, что в тюрьме нам, бедным, уже негде повернуться...

Небрежным жестом он запустил руку в отвислый карман арестантского халата, извлекая оттуда портсигар, и, щелкнув его крышечкой, протянул папиросы к самому носу громады:

– Египетские, еще из Каира... прошу, синьор!

Камера натужно вздохнула. Один старый «шлиппер» сказал:

– Живут же люди... даже в тюрьме живут!

Когда камера уснула, Польшов приник к уху Кутерьмы:

– Слушай, Ванька, мне надо устроить «крестины», чтобы сменить имя. Сменить статью. Сроки каторги. Чтобы вылизать все прошлое дочиста и получить на руки «квартирный билет».

Иначе говоря, Польшов желал избавиться от тюрьмы, чтобы из категории «кандалной» перейти на «квартирное» положение, на какое имели право люди с малыми сроками наказания.

Кутерьма двинул могучей шеей, тихо ответил:

– Ша! Поищем похожого на тебя... обработаем. Твои пятнадцать лет на три годика сменим. Но дорого обойдется.

– Сколько? – спросил Польшов.

– Пять синек, и никак не меньше... Гляди сам, сколько здесь поддувал и глотов – всех напоить надобно.

(Пять «синек» – на языке каторги – это 100 рублей.)

– Сойдет, – сказал Польшов, наблюдая в потемках, как большой жирный клоп, упившись крови, медленно тащится по стене.

Иван раздавил клопа большим пальцем. Кутерьма знал Польшова еще с отсидки в петербургских «Крестах», где однажды Польшов, как знающий юрист, выручил его от большой беды, и с тех самых пор рецидивист ценил этого «валета», чуя в Польшове птицу высокого полета, способную парить на таких высотах, какие, пожалуй, недоступны ему самому...

Каторга уснула. На нарах и под нарами, а кому не хватило места даже под нарами, те чутко дремали, сидя на параше. Ночью начинался прилив с моря, и речка Александровка на целых три версты возвращала свое течение назад, заливая при этом унылые окраины города, в котором никто и никогда не бывал еще свободен...

9. Люди, нефть и любовь

Дело было на окраине Александровска, в самом начале Рельсовой улицы, где стоял небольшой домик, окруженный жидким штaketником, за ним виднелись грядки огорода, приготовленные для посадки огурцов и картофеля. В этом убогом домишке проживал политический ссыльный Игнатий Волохов, социал-демократ.

Ольга Ивановна, жена его, сидела возле окна, прострачивая на швейной машинке «зингер» длиннейший шов заказного платья. Мужа дома не было – он давал уроки в школе, и женщина тихо плакала. С улицы скрипнула калитка, пришел товарищ ее мужа – Вычегдов, тоже политический ссыльный:

– Здравствуй, Оля... Ты никак плачешь?

– Не обращай внимания, – ответила женщина. – Просто у меня не стало сил терпеть это отвратительное хамство...

Они прошли в комнату. Вычегдов сел на стул.

– Все-таки, Оля, ты скажи, кто тебя обидел?

– Мне сегодня самым вульгарным образом надавали пощечин. Знаешь эту мерзавку Жоржетту Слизову? Так вот... Местные красотки раскритиковали ее новое платье. Я сегодня прихожу получить с нее деньги за шитье. Она швырнула в меня рублем, а потом... пришлось смолчать. Ради мужа. Ради детей.

– Правильно сделала. Только не плачь. Даже это пройдет, как проходит в нашей жизни многое... бесследно!

Вернулся из школы муж. Женщина накрыла для мужчин стол к обеду. Волохов пригляделся к товарищу по несчастью.

– Ты чем-то удручен? Я не ошибся?

Вычегдов выгнул плечи и резко опустил их:

– Не знаю, что и сказать.

– Так скажи то, чего ты сам не знаешь...

– Слушай! Недавно я встретил на улице партию кандалных последнего «сплава», которых гнали на работу. Сплошь уголовники! Но лицо одного из них мне показалось очень знакомым. Где-то я видел его раньше... да, встречал.

– Так что же тебя удивляет? – спросила Ольга.

– Кажется, он меня тоже узнал. Но при этом отвернулся столь преднамеренно, что это и насторожило меня. Если он из «политиков», то ему бы только радоваться, увидев меня... Убей бог, не могу вспомнить фамилию этого человека. Но из головы не выходит его подпольная кличка – не то «Техник», не то «Мастер», что-то в этом роде. Кажется, – досказал Вычегдов, – у него потом возникли какие-то связи с боевиками польской ППС.

Волохов спокойно дохлебывал из тарелки рыбный суп. Он сказал, что в этом случае надо быть крайне осторожным, дабы не подвести товарища излишним вниманием к нему:

– Он, может, и отвернулся от тебя нарочно, давая понять, что прибыл на Сахалин под другим именем и нам до поры до времени не следует с ним встречаться. Сам придет!

– Вполне возможно, – согласилась с мужем Ольга. – Сейчас в Варшаве проходит процесс по делу экс-в лодзинском банке, и, если он связан с боевиками ППС, то ему выгоднее всего затеряться в массе всякого уголовного сброда.

– Ну ладно, – ответил Вычегдов, – я не стану искать контактов с этим человеком, но у меня есть связи с тюремной шпаной. Я постараюсь через них узнать, под какой фамилией он прибыл на Сахалин... Может, это просто роковое совпадение!

– Такое тоже бывает, – добавил Волохов.

И больше они к этой теме не возвращались.

Запах нефти Сахалина давно раздражал обоняние многих аферистов. С острова Суматра появился некий ван Клейе, называвший себя голландцем; за ним в тайгу Сахалина проникли и другие иностранцы, жаждущие немислимых прибылей. Теперь понятно, почему генерал-лейтенант юстиции Ляпишев отказал Оболмасову в поддержке, ибо во всех этих разведчиках нефти он усматривал банду проходимцев, желавших погреть руки под буйным пламенем будущих факелов, рвущихся из недр Сахалина...

Жорж Оболмасов с большим старанием завязал перед зеркалом галстук, взял в руки тросточку и сказал себе:

– Еще посмотрим! Где нефть, там и деньги. Уверен, что старик Нобель еще позеленеет от зависти к моим личным доходам...

В японской колонии его ждали. После множества бытовых неудобств, испытанных в доме Слизовых, было приятно ощутить благоустройство японского жилья. Две молоденькие японки низко кланялись молодому геологу. Такаси Кумэда сказал, что консул Кабаяси не замедлит явиться. Как и Кумэда, почти все члены японской колонии Александровска хорошо владели русским языком, мужчины держались молодцевато, с большим внутренним достоинством, но крайне вежливо... Один из них сказал Оболмасову:

– Мы, живущие в Александровске единой дружной семьей, конечно же, наблюдаем множество недостатков жизни на Сахалине, однако нам, посторонним наблюдателям, не пристало вмешиваться в чужие дела. Нравится нам это или не нравится, наша японская колония держится подальше от ваших дел...

После такого предупреждения появился сам Кабаяси.

– Мы очень огорчены теми неприятностями, которые доставило вам общение с губернатором... Вы уже знаете, – говорил Кабаяси, посверкивая очками, – что нам безразличны дела сахалинской каторги, но мы испытываем давнее беспокойство от появления на острове иностранцев, привлеченных запасами нефти. Россия и Япония – добрые соседи, и нам не может нравиться, что по следам вашего лейтенанта Зотова в тайгу пробираются всякие авантюристы типа инженера ван Клейе...

Оболмасов почтительно сложил на коленях ручки, еще не понимая, к чему клонится этот разговор и почему ему, вчерашнему студенту, оказывают столько неподдельного внимания. В соседней комнате японки тихо наигрывали на сямисенах, а Такаси Кумэда ловко разлил по бокалам французское шампанское.

– Нам, – сказал он с улыбкой, – приятнее видеть русские нефтяные промыслы на Сахалине, нежели наблюдать активность подозрительных пришельцев, что в будущем станет угрожать спокойствию наших границ. Мы уже выяснили: Клейе – это не ван Клейе, а фон Клейе, он просто немец, женатый на яванке, но приезжал на Сахалин от американской компании «Стандард Ойл».

– Я вас хорошо понимаю, – с важным видом кивнул Оболмасов, хотя в этот момент он показался сам себе таким жалким, таким ничтожным, ибо перед ним сидели энергичные деловые люди, знающие как раз то, о чем никогда не писалось в газетах.

– Господин Ляпишев, – продолжал Кабаяси, – обошелся с вами чересчур сурово. Нам хотелось бы, ради восстановления справедливости, исправить ошибку губернатора, но при этом мы совсем не желаем вызывать его недовольство. Что вы скажете, Оболмасов-сан, если мы предложим вам свою помощь?

– Как вы сказали? – сразу напрягся Жорж.

Такаси Кумэда наклонил бутыл над его бокалом:

– Господин почтенный консул выразился достаточно ясно. Мы, японцы, согласны субсидировать ваше предприятие по разысканию нефти. Дадим вам своих носильщиков, которые выносливее ваших недоедающих каторжан. Снабдим снаряжением и продуктами, чтобы вы, ни в чем не испытывая нужды, провели геологические разведки Сахалина в тех самых районах, на какие мы, японцы, уже знакомые с островом, вам и укажем.

Вино подогрело утерянны еще вчера надежды:

– А если я не сыщу залежей нефти именно в тех районах, на которые вы, японцы, мне укажете? – спросил геолог.

– И не надо нам нефти! – вдруг рассмеялся консул Кабаяси. – Плоды ваших трудов останутся в триангуляции местности, в нанесении на карты просек, лесных завалов, даже звериных троп, ведущих к водопадам, в отметках речных бродов и высот сопок... Кстати, с вами будет наш отличный фотограф!

– Зачем? – искренне удивился Оболмасов.

– Должны же мы, вкладывая средства в вашу экспедицию, иметь хоть малейшую выгоду от нее, – пояснил Кумэда. – Мы издадим в Японии красочный альбом с видами Сахалина, и появление такого альбома уже одобрил с а м губернатор Ляпишев.

Кабаяси нежно коснулся плеча геолога:

– Мы люди деловые, и наши дружеские отношения не мешает скрепить контрактом. Думаю, пятьсот рублей жалованья на первое время вас устроит. В контракте мы особо оговорим, что летний сезон вы можете проводить в пригородах Нагасаки, где для вас будет приготовлена дача с красивыми служанками...

Оболмасов совсем размяк: такой ледяной холод от русского губернатора и такое радушное тепло от солнечной Японии, еще издали посылающей ему улыбки сказочных гейш на пригородной даче, утопающей в благоухании нежных магнолий.

– Вы меня просто спасли! – отвечал он японцам.

Кумэда, как заправский лакей, открыл вторую бутылку.

– У русских, – сказал он, – есть хороший обычай любое дело фиксировать хорошей выпивкой. Мы, японцы, любим закреплять дружбу еще и фотографированием... на память!

Кабаяси отсчитал Оболмасову аванс в новеньких ассигнациях, которые даже хрустели, потом надел котелок.

– Это неподалеку. Совсем рядом, – сказал он. В уютном фотоателье ловкий японец сделал несколько снимков с группы японской колонии, затем Кабаяси усадил Оболмасова на стул, а по бокам его встали сам консул и Кумэда.

– Я душевно тронут, – расчувствовался Оболмасов, благодаря японцев. – Вы меня растрогали до самых глубин души.

Хрустящие ассигнации нежно шелестели в его кармане.

...Что ему теперь этот старый брюзга Ляпишев?

С тех пор как в доме Ляпишева появилась молодая и свежая, краснощекая Клавдия Челищева, горничная Фенечка Икатова ходила с надутыми губами, нещадно колотила посуду на кухне, раздавала пощечины кухарке и дворнику, всем своим поведением давая понять военному губернатору Сахалина, что...

– Совесть тоже надо иметь! Мы не какие-нибудь завалящие. Хотя и по убийству сюда попали, но себя тоже помним... не как эта задрыга! Приехала и теперь фифочку из себя корчит...

Статский советник Бунге, кажется, уже понимал, что лишние сплетни в городе никак не украсят карьеру Ляпишева новейшими лаврами, а Челищева явно подозрительна своим появлением на Сахалине, где никто не нуждается в ее гуманитарных услугах.

– Я, конечно, приветствую ваши благие намерения, – сказал ей Бунге. – Но, посудите сами, куда я вас пристрою? В таежные высылки вы сами не поедете, а в Александровске... Знаете что! – решил он. – По воскресеньям тут много бездельников шляется по улицам, всюду скандалы и драки... Не возьмете ли вы на себя труд устроить для народа воскресные чтения?

Михаил Николаевич Ляпишев горячо одобрил идею своего помощника, желая Клавдии Петровне всяческих успехов:

– Я со своей стороны накажу полицмейстеру Маслову обеспечить в Доме трудолюбия должное благочиние, а среди чиновников велю объявить подписку на граммофон. – Губернатор похлопал себя по карманам мундира, перевернул бумаги на своем столе: – Целый день ищу портсигар. Куда же он задевался?..

Клавочка со всем пылом юности увлеклась сама, увлекла и других в это новое для Сахалина дело. Среди каторжан нашлись отличные певцы, хор арестантов существовал и ранее; бестужевка выписала из Владивостока серию школьных картин на темы русской истории, развесила на стенах красочные картины с изображениями печени пьяниц, она старательно зубрила стихотворения из популярного сборника «Чтец-декламатор».

– Голубушка вы моя, – сказал ей Ляпишев, – все это замечательно, но я ведь, старый дурак, забыл о главном... Что же вы не просите у меня жалованье за старания свои?

– Я об этом как-то и не подумала. Извините.

– Не извиняйтесь. Одним духом святым не проживете...

Подозревать Ляпишева во влюбленности было бы несправедливо, но его опека Челищевой, почти отеческая, вызвала немало кривотолков в Александровске, где чиновные Мессаины радовались любой сплетне, порочащей кого-либо. Наконец в воскресный день Дом трудолюбия украсили изнутри ветками хвои, гуляющий народ заглядывал с улицы, любопытствуя:

– А чего будет-то! Молиться заставят али еще как?

– Чтения будут! Читать нам всякое станут, а потом всыпят всем плетей по десять, чтобы мы себя не забывали.

– Лучше бы нам фокус-покус показывали. Я вот, когда в Москве жил, так завсегда балаганы навещал. Сначала фокусников посмотрю, потом у кого-либо кошелек свистну...

Народ все-таки собрался. Были и женщины из ссыльных, тут же баловались дети. Клавочка допустила большую ошибку, открыв первый вечер лекцией о климате Сахалина, которую попросила прочесть ссыльного интеллигента Сидорацкого, служившего на александровской метеостанции. Своей лекцией, начатой с теории атмосферного давления, он чуть было не загубил все дело с самого начала, тем более что сахалинская публика всегда испытывала лишь одно постоянное давление – от начальства, а на атмосферу пока еще не жаловалась.

– Ты нам глупости не заливай! – подсказывали из зала. – Уж коли мы тут собрались, так давай пляши...

Явно заскучав от картины ужасной борьбы между циклонами и антициклонами, публика потянулась к дверям, чтобы вернуться на базарную площадь, где кружилась праздничная карусель, где торговал трактир Недомясова и куражились пьяные. Но тут из глубин зала поднялся другой интеллигент, тоже из каторжных, но из уголовных. Он легко запрыгнул на сцену:

– Дорогие мои соотечественники! – обратился он к публике. – Я вам расскажу о климате Сахалина лучше этого умника. Судьба-злодейка распорядилась нами таким образом, что мы попали в удивительную страну, где никогда не было никакого климата, зато всегда была паршивая погода. Между тем, если взглянуть на карту, – он смело указал на плакат, изображающий перегнившую печень алкоголика, – то мы увидим, что Александровск затаился на одном уровне с Киевом, откуда повелась земля Русская, а каторжная тюрьма в Корсаков-

ске – на широте блаженной Венеции, где итальянский народ, дружелюбный России, с утра пораньше, даже не позавтракав, отплясывает огненную тарантеллу. Считайте, что нам здорово повезло! Другие людишки, чтобы попасть в Венецию, тратят бешеные деньги на дорогу, а нас привезли в эти широты бесплатно, да еще бдительно охраняли, чтобы мы не разбежались... В прошлом году ссыльнопоселенец Степан Разин, тот самый, жена которого драпанула к господину исправнику в кухарки, снял со своего огорода сразу десять мешков отборной картошки. Среди нее попадались экземпляры величиною с тыкву, а на огороде Маньки Путанной вырос огурец неприличной формы, почему и был отобран для показа в музее, как небывалое чудо сахалинской природы...

Публика оживилась, а лектор сказал, что оваций не надо:

– Лучше угостите меня папирочкой... найдется?

После такого «климата» Клавочке было нелегко перейти к декламации, но она уже шагнула на край подмостков:

– Друзья мои, я прочитаю вам стихи, какие хотите.

В первом ряду она заметила неопрятного старика с бельмом на глазу, который визгливым голосом требовал:

– Про любовь нам, барышня... про любовь бы нам!

– Хорошо, – сказала девушка, – слушайте о любви:

Я чувствую и силы и стремленье
Служить другим, бороться и любить:
На их алтарь несу я вдохновенье,
Чтоб в трудный час их песней ободрить...

Гражданские мотивы из Надсона не устраивали старика:

– Про любовь... про это самое... – взвизгивал он.

Но кто поймет, что не пустые звуки
Звонят в стихе неопытном моем,
Что каждый стих...

И тут она заметила, что этот старец с бельмом, который так жаждал стихов «про любовь», уже запустил руку в карман ближнего своего и, не сводя глаз с Челищевой, очень аккуратно извлекал кошелек. Это было так мерзостно, настолько паскудно и отвратно, что Клавочка не выдержала:

– Какая подлость! – крикнула она вору. – Я вам читаю стихи о самом святом на свете, а вы... неужели не стыдно?

Старик пустил ее «вниз по матушке, по Волге»:

– А вот крест святой – не брал. Хучь обыскивайте...

Кошелек так и не нашли. Но бельмастого сама же публика выставила на крыльцо Дома трудолюбия, в зале было отчетливо слышно, как он орал от побоев, потом воцарилось прежнее благочиние, и один пожилой конокрад сказал Клавочке:

– Читай дале нам, барышня! Энтот хорь старый воровать по воскресеньям уже не станет, потому как мы все лапы ему в дверях перешибли. А про любовь нежную мы завсегда слушать согласны, потому как это – дело святое, и, пока мы живы, оно всех нас касается... Тебя, барышня, тоже!

10. Крестины с причиндалами

Сидя на нарах, Польшов доктринерски рассуждал:

– Конечно, тюрьма консервирует лучшие качества, с которыми человек вошел в тюрьму, но эта же тюрьма усугубляет все пороки, с которыми порочный человек вступает в тюрьму...

Последнее время он жил в обостренной тревоге. Польшов предчувял, что если ему выпадет «воля», то жизнь в городе не позволит сменить долгий срок на малый, сфабриковать для себя новую биографию вместе с новым именем будет гораздо труднее, нежели здесь, пока он сидит на нарах в «кандалной».

– Чего маешься? – спрашивал его Кутерьма.

– Не маюсь, а размышляю...

По законам Сахалина, осужденный на 20 лет каторги обязан отсидеть в «кандалной» (испытуемой) тюрьме 4 года, кто получил 15 лет – сиди 3 года, со сроком осуждения в 10 лет – два года «кандалной» и так далее. Но этот режим из-за нехватки мест в камерах постоянно менялся, и арестантов раньше срока переводили из «кандалной» в «вольную» тюрьму, а многих попросту гнали на улицу. Но таких снабжали сухим пайком от казны, каждый день они обязаны вернуться в тюрьму – на работу! Однако ловкачи отдавали свой паек голодным, которые за них трудились на каторге, а сами они занимались чем хотели.

– Кутерьма, – вдруг сказал Польшов, – я на днях встретил на улице человека, который с большим интересом вглядывался в меня. Не дай бог, если он еще не забыл мою фамилию и мою кличку... Мне нужно ускорить шикарные «крестины» по каторжному обряду со всеми причиндалами. Сам понимаешь!

– Ладно, – крикнул Иван, – я переговорю с майданщиком.

Майданщик на каторге – фигура знатная, и кто сильнее – Иван или майданщик – этот вопрос разрешить трудно. Бывало и так, что Иван, повздоровив с майданщиком, сдыхал с ножом под лопаткой, а майданщик как ни в чем не бывало снова приходил в его камеру, словно корабейник с товарами:

– Налетай – подешевело! Вот и папироски скручены, вот и халва нарезана, а яички сольцою присыпаны...

Ящик, в котором майданщик разносил по тюрьме товары, имел двойное дно: под безобидной крышкой укрывались от глаз надзирателей бутылки со спиртом, колоды игральных карт и порции «марашета» (кокаина). Иваны, как правило, заканчивали свою житуху на кладбище Александровска, а майданщики выходили из тюрем Сахалина подпольными банкирами, становясь почтенными домовладельцами Владивостока, хозяевами лавок в Николаевске и магазинов в Хабаровске... Кутерьма неслышно подсел к майданщику:

– Ибрагим, выручи – нужен хороший «дядя сарай».

Для «крестин» требовался наивный простак, еще не потерявший дурную привычку верить всему, что ему говорят добрые люди. Кутерьма предупредил майданщика, что «сарай» нужен не старый, чтобы обязательно грамотный, чтобы его внешность ничем особым не выделялась, чтобы преступление у «сарая» было плевое, а срок каторжных работ пустяковым.

– Есть один такой. Эй, где тут семинарист Сперанский?

– Да эвон, «Прасковью Федоровну» кормит...

На параше расположился молодой смазливый парень, и Кутерьма, оглядев его, вернулся на свои нары – к Польшову.

– «Сарай» сгодится, – доложил он.

– А ты узнавал – кто он и за что на Сахалине?

– По мелочи пошел. Сам-то из духовных. Послали в деревню из семинарии псаломщиком. А там в церкви попадя – такая язва! Уговорила помочь ей от попа избавиться, чтобы не мешал любовь крутить. Вот он и вляпался... Шпана! Кувыркало поганое...

Пока Иван искал «дядю сарая», Польшов успел отрезать от халата пуговицы, внутри которых были зашиты деньги:

– Пять «синек» на всякие причиндалы, бери.

– Начнем «крестины» с божьей помощью. Нам не первый раз...

Бывший семинарист Сперанский еще ублажал «Прасковью Федоровну», когда удар кулаком обрушил его с параша на пол. Он вскочил, моргая глазами, подтягивая штаны:

– За что? Уже и подумать не дадут как следует.

– Тебе, может, еще и газетку почитать хоца?..

С этого момента жизнь превратилась в сущий ад. Преступный мир слишком жесток, а Сахалин до мелочей отработал гнусную систему «крестин», чтобы жертва звериных законов каторги нигде и ни от кого не знала спасения. Сперанского методически подвергали побоям, у него отбирали последнюю пайку хлеба, в кружку с чаем сморкались и плевали. Глядя на «поддувал», и вся камера включилась в травлю забитого человека, видя в его страданиях лишь веселое развлечение от тюремной тоски.

– Да что изгиляетесь-то? – плакал семинарист. – Рази ж я не человек? Поимейте ко мне хоть толику жалости...

С высоты нар, лениво покуривая, Кутерьма пристально наблюдал за жертвой, стараясь не прохлопать тот рискованный момент, когда человеку самая паршивая смерть от бритвы или веревки покажется слаще этой кошмарной жизни.

– Тока б не повесился, – рассуждал Иван.

– Следи, – напомнил ему Польшов, который, вроде постороннего наблюдателя, не вмешивался в процедуру «крещения».

Наконец Сперанский, уже не видя спасения от издевательств, стал взывать к милосердию тюремных надзирателей.

– Откройте! – барабанил он в железные двери. – Спасите меня, люди добрые... За что мне это наказание господне?

– Пора, – тихо скомандовал Польшов.

Одним гигантским прыжком Кутерьма пролетел от нар до дверей камеры. В его кулаке блеснуло хищное лезвие ножа, и все мучители прыснули по углам, как мыши при виде кота.

– Пришью любого, – пригрозил Иван. – У-у, глоты, шпана липовая... Что ж вы с парнем-то делаете? Ежели кто еще тронет его, тому не с ним, а со мной дело иметь.

Сперанский приник к плечу бандита, горько рыдая:

– Спасибо вам, хороший вы человек. Вступились! И маменьке напишу, чтобы она всегда за вас бога молила...

Кутерьма сунул ножик в свои опорки, обнял парня:

– Не бось! Мое слово верное. Жизнь будет у нас – во! Другие ишо позавидуют, каково мы жить-то станем... верь мне, верь.

Первым делом с высоты нар спихнули какого-то жулика, на его место с почестями разместили Сперанского, который совсем ошалел от внимания, когда у него появилась даже пуховая подушка.

– Во! Хорошего человека как же нам не уважить?..

Майданщик раскрыл свой волшебный ящик. Были у него кусочки ветчины, надетые на спички, колбаса кружочками. Семинарист, копейки за душой не имея, раньше только облизывал

вался в своем убежище под нарами, взирая на такую гастрономическую роскошь, а теперь его под локотки представили Ибрагиму:

- Выбирай себе любое, как король на именинах.
- Курнуть бы мне, – скромно просил семинарист.

Самодельные сигарки, скрученные из газеты, стояли пятачок, а завернутые в папиросную бумажку – по гривеннику. «Поддувалы» с наигранным возмущением набросились на Ибрагима:

– Ты, жлоб, сам давишься своим дымокурором. А мы тебе золотого человека показываем, имей уважение... Ты ему папироски гони! Давай, халвы отрежь. Ветчинка тоже сгодится...

В окружении новых друзей Сперанский сидел на нарах, после долгого голодания уплетал куски ветчины, ему поднесли стакан водки, налили еще. Отовсюду он слышал похвалы себе:

– Золотой парень! Ты ешь, ешь. Не стыдись. Надо будет, мы ишо достанем. И чего это ранее ты не дружил с нами?

Появились карты. Сперанскому говорили:

– Ты фартовый, сразу видать. Метнем, что ли?

Окосев от дурной водки и тяжелой пищи, семинарист шлепал по доскам нар замызганные картишки и сам дивился, как ему везло. Дали три «цуга», а карман уже раздулся от денег.

– Весь «мешок» увел... надо же, а! – говорили воры. – Фартовый, такой любую карту возьмет. Видно, что парень хват...

Семинарист уже сам покрикивал на майданщика:

– Эй... как там тебя зовут, кила казанская? А ну, крути машину, чтобы сразу бутылка на нарах была... гуляем!

Его опять хлопали по спине, дурили голову похвалами:

– Конечно, теперь чего не гулять? Из-под нар вылез, а видно, что любого ивана соплей пополам перешибет...

Утром следовало тяжкое пробуждение, но едва Сперанский оторвал голову от подушки, «поддувалы» стали кричать:

– Ибрагим! Аль не видишь, что человек мучается?

Стакан водки, настоящий для крепости на махорке, снова раскрасил каторжное бытие голубыми цветочками фальшивого счастья. Опять, как вчера, Сперанский пожирал кусочки ветчины со спичек, размачивал в чае пряник, даже загордился:

– А на что мне пайка тюремная? Пушай другие трескают...

Уже плохо соображая, видел он, что не так легко идет к нему карта козырная, карман болтался свободно, а всякие «храпы» и «глуты» хапали с банка деньги, утешая его:

– Да, брат, сегодня тебе фарта не стало. Ну, с кем не бывает? Ставь на бочку остатние, а завтрава отыграешься...

Утром Ибрагим потянул его с нар за ноги.

– Когда платить будешь? – спросил он.

– За что платить-то? – не понял его семинарист.

– Ветчина и колбаска кушал. Водка моя пил. Папироска моя курил. С тебя сорок рублей, отдай и не грши.

– Бога-то побойся! – тонко завывал Сперанский.

Майданщик покрыл его грязной бранью:

– Я твоего бога не знаю, у меня свой Аллах водится. И не Ибрагим я тебе, а – отец родной. С моего майдана вся тюрьма пил и кушал. Плати, если «темной» не хочешь.

Отовсюду слышались с нар возмущенные голоса людей, которые еще вчера доедали за семинариста его же обьедки:

– Иль закона не знает? Давай, гони кровь из носу.

«Гнать кровь из носу» – на языке каторги значило расплачиваться с долгами. Сперанский еще не мог привыкнуть к мысли, что задолжал «отцу родному» 40 рублей, а его уже обступили со всех сторон всякие наглецы-«поддувалы»:

– Гони две синьки, чтобы из носу капало... Ты что, паскуда худая? Или забыл, что вчера продулся вконец? Ежели к вечеру не дашь кровь из носу, с «пером» в боку спать ляжешь...

Настал вечер. Сперанский взялся вынести парашу. Опорожнив ее над ямкой нужника, он обвил себе шею длинной бечевкой, чтобы оставить этот проклятый мир, но из мрака услышал голос:

– Чего ж ты, миляга, в петлю полез? Так дело не пойдет. Я ведь предупреждал, что на меня всегда положиться можно...

– Кто здесь? – испуганно вскрикнул семинарист.

Из потемок нужника вдруг выступил Иван Кутерьма, он привлек парня к себе и подарил ему в уста скверный поцелуй Иуды:

– Сейчас перекрестим тебя, только не пугайся... – Вот теперь начинался разговор уже по делу: – Есть один человек у меня, которому помочь надобно. Ему пятнадцать лет всобачили. Возьмешь на себя его срок вместе с фамилией. А ему отдашь свои четыре годика и свое духовное звание. Я, сам ведаешь, худого тебе не хочу. Мне, как бессрочному, все равно бежать следует. Будешь моим товарищем. Рванем с Сахалина вместе. Дорогу до мыса Погиби я уже изучил, лодку у гиляков стащим и махнем на материк, а там...

Матерый вор, он расписал будущее такими красками, что дух захватывало: огненные рысаки увозили их к московскому «Яру», самые красивые шлюхи расточали неземные ласки.

– Со мною не пропадешь, – заверял Иван Кутерьма.

Голова шла кругом, но и жутью веяло от мысли, что на него вешают чужие грехи, а пятнадцать лет каторги – это не четыре года. Кутерьма сразу заметил колебания Сперанского:

– Не рыдай! Деваться-то тебе все равно уже некуда. Вся судьба собралась в гармошку. Хошь, я тебе сразу деньги дам, чтобы пустил кровь из носу, и никто в камере тебя мизинцем не колыхнет. А ежели, сука, ты от моих «крестин» откажешься, тогда... Сам знаешь, каторга – это тебе не карамелька!

Только теперь Польшов подошел к семинаристу. Он не стал вдаваться в лирику, сразу перешел в энергичное наступление:

– Тля! Слушай меня внимательно. Ты берешь мое имя, берешь и грехи мои. Если спросят, за что получил пятнадцать лет, отвечать будешь конкретно – за три экса! Запоминай: сначала было ограбление Коммерческого банка в Лодзи...

– Боюсь, – расплакался семинарист.

Польшов жесткой хваткой взял парня за горло:

– Еще ты увел кассу бельгийского экспресса. Ну, а что касается экса в Познани, так я тебе этот экс прощаю, ибо в криминаль-полиции Берлина мое дело осталось недоказанным... Чего дрожишь, тля?

– Страшно мне, – признался Сперанский. – Да и не запомнить всех названий... Нельзя ли чего попроще?

– Проще не получится, ибо жизнь – слишком сложная штука. Еще раз повторяю: Лодзь, почтовый вагон и... Познань! А взяли тебя, сукина сына, за рулеткой в Монте-Карло.

– Да что я мог делать там, господи?

– Ты, дурак, ставил на тридцать шесть.

– Не бывал я там! Даже не знаю, где такой...

– Так и говори, что в Монте-Карло никогда не бывал. А тебе никто не поверит, ибо любой преступник всегда отрицает посещение тех мест, где он совершил наказуемое деяние. Осознал?

– Да ведь погубите вы меня.

– Не ври, – жестко произнес Польшов. – Ты сам несчастного попа загубил, чтобы с попой его выпасться. Так что не выкручивайся, а получи свои пятнадцать лет каторги и будь доволен, что еще легко от меня отделался...

Семинарист, схваченный за глотку, неожиданно встретился с взглядом желтых глаз, он заметил даже ухмылку на тонких губах Польшова, и тут он понял, что этот человек, отдавший ему свои преступления, выше всей уголовной камеры, выше даже его «крестного отца» – бандита Ивана Кутерьмы.

– Ладно, – обмяк семинарист. – Только отпустите меня...

И пальцы на его шее медленно разжались.

Сперанский (бывший Польшов) скоро вышел из тюрьмы, получив «квартирный билет», дабы существовать на свой счет, уже не надеясь на помощь от казны. Кутерьма остался на своих нарах. Бандит не знал, что придет срок – и он станет мешать Польшову, как опасный свидетель прошлого, а тогда Польшов, им же «перекрещенный» в Сперанского, должен будет убрать Кутерьму с этой грешной земли, дабы тот не мешал ему жить... В городе Польшов снял себе «угол» на Протяжной улице в квартире Анисьи, которая торговала на базаре протухшими селедками. Эта бой-баба, немало повидавшая на своем веку, не раз умилялась набожности своего постояльца, часами простаивавшего перед иконами:

– Господи, простишь ли и помилуешь ли меня, грешного?

Вызнав о грехах постояльца, Анисья даже пожалела его:

– Сама баба, так по себе ведаю, что все беды от нас происходят. Ты, мил человек, от нашего брата держись подальше...

Итак, «крещение» состоялось удачно. Польшов все рассчитал правильно и не учел лишь одно важное обстоятельство – благородных порывов Клавочки Челищевой, которая, кажется, влюбилась в него из чувства женского сострадания.

11. Коллизии жизни

Было утро. Дети еще спали. Ольга Ивановна Волохова поправила на них одеяло и снова вернулась к швейной машинке.

– Может ли быть что-либо гадостнее! – со вздохом сказала она своему мужу. – Я, получившая образование в Женеве, жена социал-демократа, убежденная сторонница женской эмансипации, теперь, чтобы заработать на кусок хлеба, вынуждена шить платье на заказ... И – кому? – с горечью спросила женщина. – Для уголовной преступницы Фенечки Икатовой, этой строптивой фаворитки нашего стареющего губернатора.

– Ладно, ладно, – ответил Игнатий Волохов, собираясь в школу давать уроки детям каторжан. – Не пытайся, моя дорогая, подвергать анализу сложные коллизии сахалинской жизни... Кстати, – спросил он, застегивая портфель, – что пишут в газетах об этом процессе в Лодзи по поводу экса в банке?

Ольга Ивановна нажала педаль своего старенького «зингера», который давал вдоль шва четкую аккуратную строчку:

– Суд закончился. Главного повесили в цитадели Варшавы, остальным дали большие сроки. Не исключено, что кто-либо из боевиков ППС вскоре появится у нас на Сахалине.

Вечером Волохов застал жену в большой тревоге.

– Слава богу, что ты пришел, – сказала Ольга Ивановна. – А то ведь я уже хотела взять детей и уйти к соседям.

– В чем дело? И что случилось тут без меня?

– За нашим домом, кажется, ведут наблюдение.

– С чего ты это взяла?

– Я сидела вот так, лицом к окну, перед машинкой, когда заметила странного человека, который издали следил, кто к нам приходит и кто уходит... Мне страшно! – призналась женщина. – Кругом убийства, грабежи, насилия...

– Как он выглядел, этот человек?

– Еще молод. Строен. Чувствуется, что сильный. Одет же в обычный бушлат, какие выдают арестантам, когда они из «кандалной» переходят в «квартирные».

Волохов просил ее подавать ужин:

– Успокойся, Оленька, мы с тобой не такие уж богатые, чтобы нас грабить. Тут что-то другое... А вот и новость: на барахолке сегодня была облава с большим оцеплением.

– Что искали? Наверное, беглых?

– Да ерунду искали – портсигар с зеркальцем.

– Из-за портсигара такой шум?

– Портсигар-то увели прямо со стола губернатора, вот старик и взбеленился. Понятно его раздражение, если в кабинете губернатора бывают свои люди... Бунге ведь не утащит!

Волохов хорошо знал Сахалин, он был членом Русского географического общества, которое недавно просило его написать статью о низкой рождаемости на острове. Когда жена и дети уснули, ссыльный присел к столу, приподняв для яркости света фитиль керосиновой лампы. Отчет предназначался к публикации, а потому, чтобы цензура не очень придиралась, Волохов открыл статью цитатой из правительственного сообщения от 1899 года: «Трагический недостаток женщин порождает разврат, подрывающий семейные начала, без которых колонизация Сахалина невозможна... Вступив на остров, женщина перестает быть человеком, становясь безличным предметом, который выдается поселенцу вместе с коровой и свиноматкой, женщину могут отнять у него, продать, изуродовать, уничтожить». Что говорить о нравственности, – продолжал Волохов, – если на 8 мужчин приходится 1 женщина, отчего на Сахалине

процветает откровенная полиандрия, а девочки с 10 лет вступают в половую жизнь, чтобы заработать на пропитание. Проституция снижает рождаемость...»

Волохов сильно вздрогнул! Перед ним темнел квадрат ночного окна, а в расщелине ситцевой занавески он увидел лицо неизвестного человека, в упор смотревшего на него. Волохов быстро задул лампу и шагнул прочь от окна, боясь выстрела. Он слышал, как тихо прошестели удаляющиеся шаги, скрипнула калитка и снова наступила тишина. Рельсовая улица спала.

– Оля права, – сказал себе Волохов, – тут дело нечистое. Кто этот тип, что шляется по ночам? Что ему надо от нас?..

Было известно, что полицмейстер Маслов носит под шинелью стальную кирасу, ибо его уже не раз пытались зарезать. Ладно этот Маслов, ему сам черт не брат, а вот как сохранить жизнь Оболмасову? Проживание его в доме Слизовых затянулось, и хозяин поучал геолога, что вечером за калитку лучше и не высовываться. Оболмасова выручила Жоржетта Иудична Слизова, которая поднесла ему два тома – Боборыкина и Шеллера-Михайлова.

– Конечно, это не Мопассан, – с томным видом намекнула женщина. – Но я от чистого сердца дарю вам классиков.

– Благодарю, но этих господ я уже читал.

– Ах, Жорж! Как вы непонятливы. Боборыкиным вы укроетесь спереди, а Шеллер-Михайлов своим солидным переплетом сохранит вас от любого коварного нападения сзади... Отныне вы будете для меня – как кирасир, закованный в латы.

Спасибо ей: обвешавшись русской беллетристикой, Георгий Георгиевич теперь уже не так боялся ходить по улицам. Скоро он стал своим человеком в кругу местной бюрократии, его часто видели в клубе, где буфет с выпивкой заключал церемонию каждого вечера. Жорж легко тратил аванс, полученный от Кабаяси, ибо в порядочность японцев верил больше, нежели своим соотечественникам: «Трепачи! Насулят три короба, а когда придет время расплачиваться, так с них черта лысого не получишь...» В клубе Александровска все чаще говорили о намерении Ляпишева удалиться в отставку, но эта версия тут же отпадала, жестоко раскритикованная с позиций романтического реализма:

– Э, не первый раз! – говорил Слизов, накалывая на вилку кусочек селедки. – В прошлом году он тоже клялся, что из отпуска не вернется. Мы, как последние олухи, объявили подписку на поднесение подарка «от благодарных сослуживцев», а к осени – глядь! – он вернулся. Ясное дело, что подарков сослуживцам не вернул. Так будет и сейчас...

– Конечно, – подхватил Еремеев, инспектор тюремного надзора, – в России таких окладов не бывает, как здесь, да и Фенечку Икатову тоже необходимо учитывать на весах местного благоразумия... Чего ради ему от Сахалина отказываться?

В среде этих господ Жорж Оболмасов быстро научился пить больше меры, легко усвоил от них презрение к каторге – главнейший закон чиновно-сахалинской морали, и на улицах Александровска, забронированный с фронта и тыла переплетами книг, он бдительно следил, чтобы не пострадал его престиж, чтобы вся каторжносыльная дрянь за 20 шагов от него обнажала головы.

– Эй, – покрикивал геолог. – Кажется, от вас на Сахалине не так уж много требуют: всего-то навсего шапчонку скинуть. Так не ленись, братец, и скажи спасибо судьбе, что на интеллигента напал, а другой бы тебе такого «леща» поджарил...

Наивным сном казались теперь ему мечты юности, когда в аудиториях Горного института студенты сладко грезили о том, как прощупают недра России, выявив в их глубинах все, в чем нуждается русская экономика и промышленность. Жорж не сомневался, что именно на каторге

станет новоявленным Нобелем! Сейчас в этой увлекательной сахалинской эпопее его угнетало лишь отсутствие женщины. Он боялся связывать себя с местными Цирцеями и Афродитами, о которых ходили ужасные слухи, а женщин, еще не испорченных каторгой, следовало ожидать до осеннего «сплава»... Оставалось благодарить Жоржетту Иудичну: когда муж удалялся по утрам на службу, эта старая гримза вовлекала квартиросъемщика именно в те приятные отношения, в каких он нуждался. Правда, иногда еще мнилось, что со времен встречи в Одессе он имеет некоторые надежды на чистоту и святость Клавдии Челищевой, геолог даже позванивал в дом губернатора, прося пригласить ее к телефону, но трубку телефона каждый раз почему-то снимала с рычага обнаглевшая Фенечка Икатова:

– Кто спрашивает? А чего вам от нее надо? Так у меня ноги-то, чай, не казенные, чтобы я за ней бегала...

Челищеву очень редко видели в клубе, она слишком увлеклась «воскресными чтениями» в Доме трудолюбия, куда раньше людей было не заманить, а теперь каторжане и ссыльные часами выстаивали на ногах, слушая чтение русских классиков, для них заводили граммофон «Тонарм» с мембраной фирмы «Эксибишен», и знаменитая Варя Панина с надрывом выпевала для них:

Стой, ямщик! Не гони лошадей.

Нам некуда больше спешить...

Но однажды Фенечка сняла трубку зазвонившего телефона, и мужской голос велел ей пригласить госпожу Челищеву:

– А у меня ноги-то не казенные... – начала было Фенечка с обычного в таких случаях афоризма, но голос мужчины на этот раз оказался неукоснительно резок:

– Слушай, ты... мразь вakraхмаленных кружевах! Не смей хамить и немедленно позови к аппарату госпожу Челищеву.

Клавочка взяла трубку, брошенную на стенной крючок.

– Простите, – услышала она, – вас беспокоит штабс-капитан Быков, Валерий Павлович... Может, вы меня помните?

– Помню вас и помню ваши предостережения. Но, как видите, мне раскаиваться еще не пришлось, и осенью я не собираюсь покидать Сахалин на транспорте «Ярославль».

– Рад за вас, – отвечал Быков; от имени гарнизона он просил ее выступить в казармах Александровска перед солдатами. – Вы сами знаете, что Карузо и Шаляпин не угрожают Сахалину своими бесплатными гастрольями. А наши сахалинские солдаты, хотя и слуги отечеству, но жизнь у них тоже почти каторжная, они будут очень рады послушать и вас и ваш... граммофон!

Вечер в казарме сложился самым лучшим образом, а потом штабс-капитан Быков умолил девушку накинуть на свои девичьи плечи его офицерскую шинель:

– Не простудитесь! Снег в окрестностях нашего легендарного «Парижа» будет лежать на сопках еще долго, а дожди тут очень холодные... Впрочем, моя коляска к вашим услугам!

Клавочка без тени ложного смущения приняла его приглашение «на чашку чаю»; денщик задержал лошадей возле беленькой мазанки, похожей на украинскую, в переулке офицерской слободки. Внутри дома хранилась стерильная чистота, всюду был замечен порядок, свойственный только женщинам, о чем Клавочка и подумала про себя, но Валерий Павлович Быков с удивительной проницательностью разгадал ее потаенные мысли:

– Нет, я холостяк. Просто жизнь приучила меня к аккуратности в общении не только с предметами, но и с людьми... Я нисколько не жалею, что связал свою судьбу с русской армией, я сожалею только о том, что не в силах сдать экзамены в Академию Генштаба. Иногда мне кажется, что я окончательный тупица!

Денщик поставил самовар. Над офицерской тахтой висела карта Сахалина, и Быков обвел пальцем контуры острова:

– Заметьте, что Сахалин своими очертаниями напоминает большую стерлядь с раздвоенным хвостом на юге, это даже символично... Россия привыкла кормиться рыбой с Волги, а никто еще не подумал, что один только Корсаковск может дать народу рыбы как десять Астраханей... Мы – слепые раззявы! – говорил Быков. – Когда с океана идут рыбные косяки, то они столь необъятны, что миллионы тонн самой драгоценной рыбы с икрой выдавливаются прямо на берега Сахалина, образуя на них гекатомбы умирающей рыбы, которая потом отравляет воздух своим гниением. А у нас нет даже соли... Вот, попробуйте нашу селедку!

Клавочка попробовала и сказала:

– Да, в магазинах Елисеева такую не продашь даже беднякам, ибо россияне давно испорчены астраханским засолом.

Быков вызвался проводить ее:

– Вы бы знали, как тошно жить на этом острове, где мы все заранее проклинали, все изгадили, все оплевали, на все глядим чужими недобрыми глазами, будто Сахалин не наша земля, а сам дьявол прибил ее к берегам России. Японцы этим и пользуются – грабят, вывозят, хищничают. Вы когда-нибудь побывайте на путине в Аниве... это страшно! Будто Сахалин вообще не принадлежит нам, русским, а только им, японцам.

Клавочке штабс-капитан нравился – он не был похож на других обитателей Александровска, но в сердце бестужевки, давно настроенном на лирический лад, еще не угасал интерес к тому загадочному арестанту, который, как и офицер Быков, тоже не был похож на рядовых людишек... «Где же он, этот арестант с такими лучистыми, медовыми глазами?» Наверное, горюет в «кандалной» и смотрит на этот мир через решетку.

Приятно шелестящая кружевным фартучком, милейшее создание природы – Фенечка Икатова внесла в кабинет военного губернатора поднос с чаем и сливками. Сразу началась активная выгрузка самой свежайшей сахалинской информации:

– Слизова-то Жоржетка, кляча старая, живет с этим... Ну, с этим вот, что больно уж нефти от вас захотел.

– Оболмасов? Горный инженер?

– Он самый. Бессовестные люди... Слизов ему, как человеку, квартиру сдал, а он с его же кривомордой путается. Мало того, еще взял моду такую – сюда, в управление, названивать.

– Чего ему от меня надо? – возмутился Михаил Николаевич. – Я его грандиозным планам не слуга, уже было сказано.

– Да вы ему не больно-то и нужны, – хихикнула Фенечка, советуя Ляпишеву добавить в чай побольше сливок. – У него тут иные заботы... Видать, одной Жоржеточки ему мало, он по телефонам с госпожой Челищевой шуры-муры крутит.

– Да ну! Быть того не может, – ответил Михаил Николаевич, при этом послушно разбавляя чай сливками.

– Тоже хороша... штучка! – сказала Фенечка, наблюдая через окно, как два арестанта на длинной палке несли к базару гигантскую камбалу, похожую издали на старое застиранное одеяло, которое впору выбросить. – Тут не только Оболмасов! Она и с капитаном Быковым стала путаться. Мне на кухне барон Шеппинг сказывал, что уже видели, как она от него вечером выходила. Знаем мы таких. В благородство играют, а сами...

Ляпишев схватился за виски, уткнув в них два указательных пальца, словно приставил к ним стволы заряженных пистолетов, чтобы разом покончить со всеми земными радостями.

– Не могу! – простонал он, как раненый. – Наконец, я уже изнемог от зловония этих мерзких сахалинских помоев.

Фенечка все-таки досмотрела, как арестанты, свирепо ругаясь, долго пропихивали камбалу в двери трактира, чтобы пропить рыбину и больше с нею не мучиться.

– Как хотите... мое дело – предупредить, чтобы потом вы сами не раскаивались! – И, сказав так, Фенечка вильнула перед губернатором шуршащим от крахмала подолом.

Ляпишев тяжело вздыхал в одиночестве, тоже поглядывая в окно кабинета, и даже не удивился, когда из дверей трактира сначала вылетели, как пробки, избитые арестанты, а вслед за ними шлепнулась камбала невероятных размеров, и на мостовой камбала вдруг ожила, начиная шевелиться.

– О, боже праведный! – вздыхал Ляпишев. – Не лучше ли быть капитаном юстиции в Тамбове, нежели генерал-лейтенантом на Сахалине... жалко мне, до слез жаль камбалу! Она-то чем виновата? Хоть бы не мучили эту несчастную рыбину...

Губернатора искренно обрадовало появление Клавочки Челищевой, потому что ему, в общем-то доброму человеку, после всей грязи и сплетен, было приятно видеть возле себя эту строгую румяную девушку, на затылке которой большие русые косы были стянуты в тугой узел, украшенный сверху «гарибальдийкой».

– Портсигар нашелся! – сказал он, поднимаясь ей навстречу. – Оказывается, писарь моей канцелярии, князь Максutow, бывший офицер флота его императорского величества, экспроприровал его у меня и... пропил. На кого угодно мог бы подумать, но чтобы его сиятельство? Чтобы лейтенант флота?..

Беседуя с девушкой, он видел, как избитые арестанты стали заново прилаживать камбалу к своей длинной палке, чтобы тащить ее до следующего трактира Пахома Недомясова.

– Я, – говорил Ляпишев, – скоро отбываю в отпуск и вряд ли вернусь обратно. Скорее всего попрошу отставку. Пока власть над Сахалином в моих руках, я желал бы оставаться любезным с вами до конца... Говорите, что вам надо? С великим удовольствием я исполню вашу любую просьбу.

Клавочка поняла, что такой случай вряд ли еще представится ей, и девушка с большим чувством произнесла:

– Не о себе прошу – о несчастном... Если у вас найдется в канцелярии место, пожалуйста, прошу вас, вызволите из «кандалной» молодого человека, с которым я познакомилась еще на «Ярославле». Кажется, он осужден на пятнадцать лет. Фамилия его – Пoлынов, а зовут Глебом Викторовичем.

– Но способен ли он быть писарем, чтобы заменить князя Максutowа, которого я уже отправил в «кандалную»?

– Судя по разговорам, – ответила Клавочка, – Пoлынов человек образованный, самых неожиданных познаний. Наверное, имеет и техническое образование, – добавила она, тут же вспомнив о вскрытии замка секретной камеры в форпике корабля.

Михаил Николаевич обещал исполнить просьбу Челищевой, но просил поручиться за порядочность Пoлынова.

– Ручаюсь головой, – заверила его Клавочка, – что этот человек на ваш портсигар никогда не польстится...

Отпустив девушку, военный губернатор вызвал Соколова, начальника конвоя, велел доставить из «кандалной» тюрьмы преступника Г. В. Пoлынова, сидящего по статье № 954:

– Если он закован, велите кандалы снять...

Ляпишев, конечно, не мог догадываться, как не догадывалась об этом и Клавочка Челищева, что вышенареченный Г. В. Пoлынов уже затаился в городе на «квартирном» положении, а вместо него из «кандалной» будет вызволен совсем другой человек.

12. Теперь жить можно

Ляпишев встретил его посреди кабинета.

– Пятнадцать лет? – строго спросил он.

– Да, – еле слышно ответил арестант.

– Эксы?

– Имел к ним пристрастие.

– Ну ладно, – произнес Ляпишев, указав садиться за стол и приготовиться писать. – Не обижайтесь, но мне желательно проверить красоту вашего почерка и вашу грамотность. Записывайте следом за мной... Удаляясь на заслуженный отдых в отпуск, я, властью, данной мне свыше, приказываю считать статского советника Н. Э. Бунге временно исполняющим обязанности сахалинского губернатора, при этом всем подчиненным наставляю в прямую обязанность усилить бдительность в связи с летним периодом, когда побег с каторги и... Успели записать?

– Так точно! – вскочил арестант со стула.

– Ничего, сидите, – разрешил Ляпишев, пробега глазами текст своего приказа. – Ну что ж, почерк у вас разборчивый, синтаксис в порядке, так что, милейший Полюнов, я не вижу причин для отказа в занятии вами канцелярского места. Но учтите, что за вас поручилась персона, которой я доверяю.

– Премного благодарны, – кланялся ему арестант...

Новоявленный Полюнов робко уселся за массивный стол губернаторской канцелярии. В голове семинариста никак не укладывалось, откуда и по каким причинам на него вдруг свалилась такая роскошная благодать? Всюду тепло и чисто. С кухни сквозняки доносят запахи пищи, которую язык не повернется называть «баландой», нигде не слышать кандального звона. В смятенном сознании семинариста медленно раскручивалась страшная догадка: не за тем ли и случились «крестины», чтобы возвысить его над этой каторгой, а виноват в его нечаянном возвышении именно тот человек, который столь жестоко похитил у него имя, его приговор суда сменил на другой – тяжкий, но более удачливый...

В канцелярию вошла чистенькая горничная. Это была Фенечка, которой было интересно глянуть на нового писаря.

– Чего лупетки-то свои выкатил? – сказала она. – Или еще не видывал порядочных женщин?... Ничего, – продолжала Фенечка, – мне раньше-то и не снилась такая сладкая житуха, какая на каторге выпала. Теперь жить можно... с умом, конечно!

Семинарист с ужасом вспомнил, как залезал под нары.

– Да, теперь жить можно, – согласился он.

И на всякий случай он нижайше поклонился Фенечке Икатовой.

Иван Кутерьма не мог очухаться от удивления: этого сопливого семинариста, которого он сам недавно «перекрестил», теперь забрал из тюрьмы сам начальник губернаторского конвоя, причем увезли его на коляске Ляпишева – как барина...

– Не иначе как ссучился! – здраво решил бандит.

При этом страшные мысли ослепляли его: сейчас «крестник» расскажет всю правду, Ивана закуют в ручные и ножные кандалы, потом засадят в «сушилку» (так назывался карцер). Пока он там парится, власть над камерой и всеми арестантами заберут «храпы», а его, бедного, разжалуют в «поддувалы»...

Кутерьма нашептал в ухо майданщику:

– Ибрагим, как хошь, а мне надо срочно бежать.

(Он сказал это на жаргоне: «пора слушать кукушку».)

– Так валяй... слушай, – с ленцой отвечал майданщик.

– Так не полезу же я на пули да на штыки конвойных! – Было видно, что без денег Ибрагим не разговорится, и Кутерьма с досадой швырнул ему четыре последних рубля. – Держи, хапуга, но только скажи: какой из столбов искать в «палях»?

Высокие «пали», окружавшие тюрьму, имели лазейку, чтобы пронырнуть под ними на волю. Это был секрет всей каторги. Даже не все иваны знали, какой из тысячи громадных столбов ограждения заранее подпилен для выхода на свободу.

Ибрагим спрятал деньги в карман халата:

– Сорок восьмое бревно. Там густая крапива...

Ближе к вечеру Иван Кутерьма спорол «туза» на спине, а кандалы у него были давно подпилены и разрезы на металле заполнены мягким воском. Вот уже стали разделять по камерам порции хлеба к чаю. Арестанты таскали хлеб на носилках, на каких выносили и покойников из камер. А все довески к пайкам прикалывались деревянными лучинками. Кутерьма даже есть не стал.

Перед сном надзиратель оповещал камеру:

– Эй, а парашу я, что ли, за вас выносить стану?

«Прасковью Федоровну» обычно вытаскивали на тех же носилках, на каких разносили и порции хлеба. Два арестанта уже взялись тащить парашу на двор, но Кутерьма отстранил одного:

– Ты отдыхай! Сей день я сам прогуляюсь до ямы...

На дворе было уже темно. Спотыкаясь, они брели до выгребной ямы тюрьмы, невольно расплескивая зловонное содержимое. Затем, опорожнив бочку параша, Кутерьма заявил напарнику:

– А мыть ее сам будешь. Считай, что меня нету...

Иван неслышно растворился в темноте. Прочные бревна «палей», перевитые толстой проволокой, со всех сторон окружали тюрьму, внешне, казалось, непреодолимые. Кутерьма двигался вдоль этого забора, нащупывая одно бревно за другим. Он считал:

– ...сороковое, сорок первое, сорок второе... это будет сорок шестое, вот и седьмое. Ага, сорок восьмое... стоп!

Ибрагим не обманул: здесь росла густая крапива. Кутерьма сунулся в ее обжигающие заросли, руками начал копать в земле глубокую яму, пока не достиг комля бревна, которое было уже подпилено. Бревно с натугой провернулось на железном штыре, и сразу открылась нора, выводившая на блаженную свободу... Кутерьма отряхнулся от земли, глянул разок на звезды и решительно зашагал прочь от тюрьмы, похожий на «вольного» ссыльнопоселенца, который задержался в гостях, а теперь спешит на свои клопанные полати, чтобы зарыться в рванье и спать.

Между базарных рядов медленно прогуливались громадные крысы, брезгливо обнюхивая острыми мордами мертвецки пьяного, уснувшего в яме. Кутерьма уверенно двигался закоулками, среди заборов и огородов, пока не вышел к дому торговли селедками. Тихо-тихо он постучался в стекло крайнего окошка. Занавески раздвинулись, в окне расплывчато забелело лицо.

– Инженер, открой... это я. Кукушка меня позвала!

Выразительным жестом Полынов дал понять, что сам выйдет к нему, и скоро появился на дворе, наспех одетый:

– Кукушка? Что-то некстати она закуковала.

– Все расскажу потом, а сейчас укрой меня... а? Мне надо пересидеть недельку-две, пока не перестанут искать... а? Долг платежом красен: я тебя «крестил», так выручай... а?

Полынов зевнул, поежившись от ночной сырости.

– Выручу, – обещал он. – Но у меня на Протяжной укрыться нельзя. Анисья – баба торговая, к ней с базара всякая шваль треплется, тебя здесь могут заметить... Что случилось?

– Да не мусоль ты душу мою! Все скажу потом, а сейчас веди куда-нибудь, чтобы меня не застукали.

– Спрячу в самом надежном месте. Есть такое. Тут недалеко, сразу за ручьем. Я сам провожу. Погоди меня тут. Со двора не уходи. Я быстренько оденусь, и тронемся...

Скоро они двинулись в сторону ручья по узкой извилистой тропе, и всю дорогу Кутерьма извергал ругань:

– ...пусть не думает, что удавлю или зарежу. Это ишо не смерть, а так – карамелька с начинкой! Он у меня еще в ногах изваляется, замучаю, пока сам о смерти не взмолится...

Послышался шум ручья, Полынов предупредил:

– Осторожнее, здесь мостки... Видишь?

– Ага, вижу, – отвечал ему Кутерьма.

Рука следующего за ним Полынова вдруг обхватила его шею, голова запрокинулась назад. Всем весом своего грузного тела бандит сам нанизал себя на нож, глубоко пронзивший его.

– А теперь... вон туда, – толкнул его Полынов.

Сонно всплеснула вода и тина. Стало очень тихо.

Полынов вернулся в свое жилье. При свете керосиновой лампы еще раз пробежал глазами газетный отчет о судебном процессе в Лодаи, потом улегся в постель. Вернее, он даже не улегся, а рухнул – как беспомощный человек, которого свалила в небытие нечаянная пуля из-за угла.

– Не смерть, а карамелька, – сказал он, задувая лампу.

Клавочка проснулась и долго не могла понять, почему у нее такое праздничное настроение. И тут она вспомнила о причине радости: ею сделано доброе дело, сегодня она может встретить в канцелярии губернатора того самого человека, которого сама избавила от кандалов и тюрьмы.

– Сегодня же навещу его... вот обрадуется!

Пробуждение чуточку омрачилось, когда ей подумалось, что с отъездом Ляпишева она останется на Сахалине под административной опекой статского советника Бунге, который давно излучал в ее сторону пугающий бюрократический холод.

– А что мне до него? – сказала себе Клавочка.

В приемной губернатора ей встретились судебный следователь с фамилией Подорога и полковник Данилов из Тымовского (иначе Рыковского) тюремного округа, обсуждавшие щекотливый вопрос о подписке для подарков генерал-губернатору Ляпишеву.

– Можно на худой конец подарить японскую вазу со всякими там страшными драконами, – говорил Подорога.

– Такую вазу подносили в прошлом году, а сейчас желательно что-либо поувлекательнее... Может, – размышлял Данилов, – орудийный салют при отплытии покажется Михаилу Николаевичу немного приятнее местных сувениров?

– Но деньги-то уже собрали! Не стрелять же теперь из пушек деньгами, собранными по подписке... Куда их девать?

С некоторым замиранием сердца Челищева направилась в канцелярию губернаторского присутствия, где за столом сидел какой-то белобрысый парень и, скривив рот от небывалого усердия, старательно перебелил казенную бумагу. Клавдия Петровна ожидала видеть Полынова, но писарь уже торопливо вскочил:

– Арестант Польшов из каторжных последнего «сплава»... Я весь к вашим услугам. Чего изволите? Я вас слушаю.

– Это не вы, – отшатнулась прочь от него девушка, и вдруг ей стало так нехорошо, что она опустилась на стул, не веря своим глазам. – Кто вы такой? Я вас не знаю... Откуда вы появились? – вдруг резко выкрикнула она, вставая. – Сейчас же и немедленно прекратите эту дурацкую комедию!

Писарь затравленно оглянулся на дверь, почти в молитвенном экстазе, как перед киотом, он складывал перед девушкой руки:

– Тише, тише... не погубите меня. Всеми святыми заклинаю – не выдавайте меня... Если в тюрьме узнают, что я разоблачен, меня ведь сразу придушат, как худую собаку...

Потрясение было столь велико, что Челищева долго пребывала в каком-то оцепенении. Только теперь она стала понимать случившееся, а сбивчивый рассказ писаря о том, как его «крестили», объяснил ей все остальное.

– Хорошо, – произнесла она. – У меня нет желания причинить вам зло. Наверное, у вас было его уже достаточно.

Писарь, плача, упал к ее ногам:

– Век за вас буду бога молить... Если б вы знали, сколько выстрадал я в тюрьме, пока не попал вот сюда! Так не ввергайте меня обратно – в пучину зла и ненависти.

– Встаньте, – велела ему Челищева. – Я обещаю молчать о том, что вы – это совсем не вы, а кто-то другой. Но, может, вы подскажете мне: куда делся этот «кто-то другой»?

Еще всхлипывая, писарь торопливо листал подшивки «квартирных билетов» и наконец объявил ей – почти радостно:

– Нашел! Этот человек живет у торговки Анисьи, которую вы сыщете в конце Протяжной улицы... там спросите.

Протяжная отыскалась с помощью прохожих, весьма подозрительно оглядывавших барышню в меховой «барнаулке» и в шапочке-гарibaldiйке. В доме базарной торговки дверь отворилась с таким противным скрипом, будто качнули виселицу. Польшов при виде Челищевой пощелкал подтяжками, которые опоясывали его грудь, как приводные ремни бездушную машину. Кажется, он не очень-то удивился ее неожиданному появлению.

– Благодарю – не ожидал, – сказал с ухмылкой.

И эти банальные слова, как и эта ухмылка, показались ей настолько циничны и отвратительны, что рука поднялась сама собой... Клавочка надавала ему хлестких, оскорбительных пощечин с такою силой, какой даже не ожидала в себе:

– Вот вам... вот еще! Не смейте отворачиваться... Вы опутали меня своей ложью! – в гнев выкрикивала она. – Вы сделали меня причастной к своим преступлениям, в которых я не могу разобраться... Чего еще мне ожидать от вас?

Польшов-Сперанский расцеловал ей руки.

– Это мой давний принцип, – сказал он девушке. – Если нельзя укунить руку женщины, избивающую тебя, я стараюсь расцеловать эту руку... Благодарю – ведь я давно ожидал вас!

– Вы? Ожидали меня? Зачем?

– Вам не следовало влюбляться в меня...

Неожиданно заплакав, Клавдия припала к его груди, перепоясанной бездушными ремнями подтяжек, а Польшов нежно гладил вздрагивающие плечи, говоря при этом очень ласково:

– Успокойтесь, прошу вас. Я никогда не воспользуюсь вашей минутной слабостью, ибо, подобно тигру, я никогда не возвращаюсь к добыче, если в первом прыжке однажды я промахнулся.

– Разве вас можно понять?

– А разве вы забыли, что было на подходах к Гонконгу?

Клавочка подняла к нему зареванное лицо.

– Кто вы такой? – со стоном спросила она.

– А вы не знаете?

– Не знаю. Но хочу знать.

– Я сейчас только семинарист Сперанский, имевший неосторожность придушить одного старенького попа... Мне, честно говоря, не совсем-то уютно в этой гадостной роли, но вы потерпите.

– Долго ли еще терпеть?

– Нет! – ответил Плынов. – Скоро я придумаю что-либо другое, более интересное для образованных женщин...

13. Не подходите к ней с вопросами

Приезжих с материка удивляло, что процент детской грамотности на Сахалине был выше, нежели в иных российских губерниях. В этом большая заслуга именно политических ссыльных, но следует отдать должное и военному губернатору Ляпишеву, который, заведомо зная, что детей с утра не покормят, узаконил раздачу в школах бесплатных завтраков.

Всем добрым начинаниям на Сахалине каторга обязана именно «политикам» и ссыльным интеллигентам. Педагоги выпрямляли в душах детей все то, что было искривлено пороками родителей, врачи отстаивали больных каторжан от плетей и тяжелых работ. Недаром же Михаил Николаевич говаривал с сарказмом:

– Спасибо нашим имперским судам: они шлют на каторгу так много замечательных людей, без которых Сахалин попросту погиб бы в поножовщине, в воровстве и блуде. Но вот что достойно особого внимания: взятые «от сохи на время», осев на землю, ничего не делают, у них летом даже огурца не купишь, а политические ссыльные, получив наделы, имеют прекрасные фермы, даже студенты-филологи снимают хорошие урожаи...

В период его губернаторства Сахалин населяли 46 тысяч человек, из них 20 тысяч считались уже «свободными», а для детей и молодежи Сахалин сделался родиной, и другой родины они не знали. Здесь им казалось хорошо, даже очень хорошо, ибо сравнивать свою постылую жизнь с жизнью других людей они не имели возможности. Но в быту трудящихся сахалинцев, своим горбом добывавших честную копейку, привились странные крайности. Выдоив корову, скосив траву, поймав рыбину или краба, собрав с огорода репу, сахалинцы все добытое старались поскорее продать, хотя при этом сами зачастую оставались голодными.

– С плохим здоровьем, – говорили ссыльные поселенцы, – жить еще можно, а ты вот попробуй поживи с пустым кошельком, тогда еще не так взвоешь. А коли срок ссылки закончится, так на какие шиши домой уедем?..

И не только они, завезенные на Сахалин силою, но даже чиновники, соблазненные «амурской надбавкой» к жалованью и пенсионными льготами, никак не могли ужиться на Сахалине, мечтая лишь поднакопить денег, а потом обратиться на материк.

– Здесь и солнышко не так светит! – объявил Ляпишев, забираясь в коляску, чтобы ехать к пристани. Официально он отбывал в заслуженный отпуск. – Но уже иссяк душой и обессилел телом, – говорил генерал. – Так что прощайте, дамы и господа, из отпуска с материка я вряд ли вернусь.

Тут весь чиновный клир загудел, как шмелиный рой:

– Да мы без вас как без рук, с вами только и ожили...

На пристани Ляпишеву поднесли икону, подарки от частных лиц и сувениры, сделанные арестантами в тюремных мастерских. Были слезы, клятвы, поцелуи, объятия. Наконец распили два ящика шампанского, а могучая сахалинская артиллерия – аж все четыре пушки! – салютовала отплывающему губернатору. Потом длинная вереница казенных колясок возвращалась в Александровск, и чиновники строго разбранили того же Ляпишева:

– Надует! Опять надует... собрал с нас целый урожай подарков, а какая там отставка? Кто его, спрашивается, с Сахалина отпустит? Уж коли сюда попал, так сиди и не чирикай.

Бунге и генерал-майор Кушелев, главный прокурор Сахалина, вдруг пробили тревогу: в обиходе обнаружили фальшивые кредитки достоинством в 10 и 25 рублей. Обычно их фабриковала тюрьма. Кушелев собрал главных «блиноделов» каторги:

– Давайте по-честному: «блины» не вашей ли выпечки?

Опытные мастера этого тонкого дела (иные из граверов, окончивших императорскую Академию художеств по классу Иордана или Серякова) тщательно изучили поддельные ассигнации.

– Вообще-то, – сказали они, – российские деньги проще спичек, их любая корова напечатает. Но это не тюремная работа, мы этой «руки» не знаем, а вы нас в это дело не путайте...

Об этом стало известно в клубе, и капитан Быков, намеливая бильярдный кий, сообщил полковнику Данилову:

– Если англичане, чтобы досадить Наполеону, штамповали французские деньги, а Наполеон, чтобы подорвать экономику России, наводнил ее фальшивыми русскими ассигнациями, то, я думаю, почему бы самураям не перенять этот старинный способ, когда один сосед тихо и гнусно гадит своему соседу.

Данилов забил в лузу два шара подряд:

– Хотелось бы верить в японскую порядочность.

Быков обошел бильярд, примериваясь к удару:

– Мне тоже хотелось бы верить, что японская вежливость – не только улыбки. Однако если русских на Сахалине сорок шесть тысяч, то подумайте... Сколько уже японцев?

Вопрос был поставлен кстати. Санкт-Петербург, желая добрососедских отношений с Токио, все-таки допустил большую политическую ошибку, позволив японцам хозяйничать на Сахалине как у себя дома: вся дальневосточная рыба вывозилась в Японию, а мы, русские, по-прежнему наивно уповали на неисчерпаемость рыбных запасов Волги и Каспия.

– Так что, – заключил капитан Быков, расплачиваясь за проигрыш, – в армии японских рыбаков всегда могут найтись и явные негодяи, которые распространяют фальшивки...

– Вот такие, как эта? – раздался вдруг голос, и генерал Кушелев перенял из руки Данилова десятирублевку. – Господин Быков, откуда у вас эта кредитка? Неужели из жалованья?

Валерия Павловича Быкова даже в жар бросило:

– Прямо мистика какая-то... декадентство, черт побери! Только мы заговорили о фальшивых деньгах, и я сразу попался. – Он объяснил прокурору, что недавно заказывал себе новый мундир в «экономическом» обществе офицеров сахалинского гарнизона, где ему дали сдачи. – Вот этой десяткой.

Генерал-прокурор вернул ассигнацию Данилову:

– Не смею лишать вас законного выигрыша...

В это время судебный следователь Подорога уже перерывал кассу клубного буфета, выудив из нее фальшивую ассигнацию в 25 рублей. Он сунул ее к носу буфетчика, тот перепугался.

– Ей-ей, – поклялся буфетчик, – господины горные инженеры Оболмасовы тока что за шампань со мною расплачивались...

Жорж Оболмасов был искренно возмущен:

– В чем вы меня подозреваете? Я расплачивался из своего же бумажника. Честными деньгами. Мною заключен контракт с японским консулом на разведку нефти, и консул сам выплачивает мне жалованье. Или мне подозревать господина Кабаяси?..

Быков навестил гостиную клуба, где между кадок с засохшими пальмами посиживали дамы сахалинского бомонда, но госпожи Челищевой среди них не оказалось. Штабс-капитан заглянул в буфет, подсел к чиновнику Слизову, который кивком головы указал ему на Оболмасова, которого – с легкой руки мадам Жоржетты Слизовой – уже прозвали на Сахалине «кирасиром»:

– Активность у него поразительная! Не вышло с Ляпишевым, так стрижет купоны с японского консула. Допускаю, что нефть они сыщут. А что дальше? Ведь каждая бочка керосину, если ее везти в Россию, будет дорожать с каждой верстой.

– Все это схоже с аферой, – согласился Быков. – Да и Нобель не в дровах же родился: он сбавит цену на одну копейку с галлона, при этом сам ничего не потеряет, а Оболмасов вместе со своими самураями сразу останется без штанов... Кстати, какой сегодня день – среда или четверг?

Слизов предложил ему выпить и закусить.

– А шут его знает, какой сегодня день, – сказал он с унылым видом. – Это в России надобно точно знать, среда или четверг, а на Сахалине и без календаря прожить можно...

Быков про себя отметил, что давно ли появился Оболмасов на Сахалине, а молодого геолога было не узнать: набрякшие мешки под глазами, измятое серое лицо – все это подтверждало старую истину, что выпивать каждый день вредно. Подумав об этом, штабс-капитан лишь пригубил стопку и отправился домой – спать!

Когда русские стали обживать эти края и завели домашнюю скотинку, то хищники при виде овечек – удирали от них в тайгу без оглядки. Кто его знает, этого блеющего зверя? Может, возьмет да и съест бедного сахалинского волка? Медведи, уж на что были лютые, но и те обходили первые поселения стороной, чтобы не попасться на глаза коровам... Здесь поначалу все было шиворот-навыворот, иной на почве в летние месяцы губил посевы самой выносливой ржи, зато корнеплоды достигали невероятных размеров. Сахалин вообще поражал чудесами. Так, например, женщин-преступниц в тюрьмы не сажали, а спешили раздать их на руки поселенцам – наравне со скотом. Антон Павлович Чехов, посетив Сахалин, уже заметил, что женщина на каторге – не то избалованная капризная баба, не то какое-то тягловое существо, низведенное до уровня рабочей скотины, Чехов тогда же снял копию с прошения мужиков деревни Сиска: «Просим покорнейше отпустить нам рогатого скота для млекопитания и еще женского полу для устройства внутреннего хозяйства...»

Сахалин всегда с трепетом ожидал осеннего «сплава», когда с парохода сойдут на пристани Александровска преступницы и «вольные» жены, вытребованные мужьями. Сильный пол заранее воровал на складах и в магазинах, грабил прохожих на улицах, снимая с них шапки и галоши, чтобы предстать перед прибывшими женщинами в самом «шикарном» виде. А если у тебя еще завелась гармошка да способен угостить бабу конфетами, ну, тогда, парень, тебе в базарный день и цены нет! Для пущего соблазна слабой женской натуры женихи обзаводились цветными платками из дешевого ситца, держали наготове в кулечках мятные леденцы.

– А чо? – рассуждали женихи. – Платок-то на нее накинута, на гармони сыграю дивный вальс «Утешение», конфетку в рот суну, чтобы пососала, а потом веда куды хошь... уже моя!

– Гадьё! – говорили женихам окружные исправники, вертя в руках синие шнуры от револьверов. – Веда вас, хвостобоев, усмерть увечить бы надо... Небось приведешь бабу, на гармони сыграешь ей, а потом сам же на улицу погонишь, чтобы она тебе, калаголику паршивому, деньги на водку добывала.

– А что? – говорили женихи, не стыдясь. – На то она и баба, чтобы с нее, со стервы, мужчина верный доход имел... Зря мы, чо ли, на этих каторгах страдаем?

Оживлялась к осени и чиновная среда, чтобы под видом кухарок, полумоек и прачек заполучить от казны бесплатных наложниц, помоложе да покрасивее. Жорж Оболмасов, которому уже давно было тошно от утренних визитов Жоржеточки Слизовой, тоже надеялся снять с парохода женщину попригляднее. Но геолог боялся не успеть вернуться в Александровск к приходу «Ярославля», ибо японцы затягивали начало экспедиции.

– Господин Кумэда, – говорил он, – летний сезон уже подходит к концу, а где же ваши носильщики, где снаряжение?

– Скоро все будет, – обещал Кумэда...

Скоро появилось отличное снаряжение, закупленное в Америке, прибыла команда бравых японских парней в крепких башмаках; они закрывали лица сетками от комаров, четко исполняли приказы Такаси Кумэды, и экспедиция тронулась в тайгу, уже затянутую дымом летних пожаров, ежегодно пожиравших сахалинские дебри. Оболмасов был достаточно грамотным геологом, хорошо начитан в литературе о полезных ископаемых Сахалина, и поэтому он не всегда понимал, почему отряд кружит возле Александровска, словно выискивая подходы к нему со стороны Южного Сахалина.

– В чем дело? – говорил он Кумэде. – Если мы решили искать нефтяные залежи, нам следует сразу двигаться на север, даже за мыс Погиби, а не болтаться в Рыковском округе... Что мы здесь крутимся? И что найдем, кроме множества скелетов в ржавых кандалах, которые валяются еще с прошлого года?..

Но японцы строго придерживались каких-то своих маршрутов, а Кумэда резко пресекал все вопросы Оболмасова:

– Вы получаете от нас такое хорошее жалованье, которого вполне должно хватить для сохранения вашего спокойствия.

Неожиданно возросла и роль фотографа, взятого в экспедицию ради создания альбома с видами Сахалина; теперь уже не Кумэда, а сам фотограф казался Оболмасову в экспедиции самым главным, японцы-носильщики кланялись ему с особенным усердием.

– Оболмасов-сан, – заявил фотограф, – это правда, что мы заключили с вами контракт на поиски нефти, не спорю. Но мы ведь можем найти не только нефть, но и... золото! Наконец, мы, японцы, никогда не отворачивались от дикой красоты сахалинских пейзажей... Это ведь тоже большое богатство.

– Да я не спорю, – согласился Оболмасов, с трудом вдыхая влажный воздух через сетку накомарника. – Но мне хотелось бы не опоздать в Александровск... ведь скоро и осень!

Японцам это было известно, как и многое другое.

– Мы догадываемся о причине ваших переживаний, – сказал однажды Кумэда. – Но вы не должны волноваться: приход «Ярославля» в этом году на две недели задерживается, и, если вам понадобится хорошая кухарка, вы успеете ее получить...

Внутри Сахалина было неуютно и жутко. От древнейших лесов и болот веяло дикой давностью; порою геологу казалось, что из вязкой заплесневелой трясины сейчас высунется, щелкая зубами, огромная пасть доисторического ихтиозавра. Некоторых лошадей, завязнувших в таких трясинах, японцы бросали погибать, не в силах вытащить их на сушу. Ради экспедиции они наняли у гиляков много собак, похожих на волков – ростом и повадками. Туземные собаки даже не лаяли, а завывали по-волчьи, и только отрубленные под самый корень хвосты давали понять, что это не волки, а «друзья человека». Впрочем, когда на Сахалине бывали голодные зимы, этих «друзей» быстро съедали.

Японцы не подвели его, и, пока «Ярославль» разгружал баржами свои трюмы от женского «сплава», Оболмасов успел побывать в кают-компании транспорта, где за офицерским табльдотом выпил три рюмки хорошего виски, а пароходный буфетчик охотно продал ему два великолепных цейлонских ананаса:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.